

Методология и теория литературоведческой славистики и
Центральная Европа. Colloquia litteraria Sedlcensia XXI, Instytut
Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo
Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, 172 с.
ISBN 978-83-64884-88-7.

COLLOQUIA LITTERARIA SEDLCENSIA

XXI

Методология и теория
литературоведческой славистики
и Центральная Европа

Redakcja serii:

Roman Mnich (redaktor naczelny)

Aldona Borkowska (sekretarz redakcji)

Adriana Pogoda-Kołodziejak (sekretarz redakcji)

Oksana Blashkiv

Roman Bobryk

Andrzej Borkowski

Ewa Kozak

Ludmiła Mnich

Nikołaj Rymar

Danuta Szymonik

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

COLLOQUIA LITTERARIA SEDLCENSIA

XVIII

IVO POSPÍŠIL

**Методология и теория
литературоведческой славистики
и Центральная Европа**

Siedlce 2015

Recenzenci:

На обложке использованы: фоторафия Костела Яна Амоса Коменского в Брне (фото Peter Čučka) и фотография Философского факультета Университета им. Т.Масарика, Брно, главный вход (фото FF MU Peter Čučka)
Профессор Иво Поспишил (фото Deník Lubomír Stehlík)

Skład i łamanie: Maria Długołęcka-Pietrzak

ISBN 978-83-64884-88-7

© Copyright by Author
© Copyright by Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
im. Franciszka Karpińskiego

Wydawca:

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka
Karpińskiego. Stowarzyszenie
ul. Targowa 7/6
08-110 Siedlce
e-mail: ikribl@wp.pl
[www: ikribl.wordpress.com](http://www.ikribl.wordpress.com)

Druk:
ELPIL, Siedlce

СОДЕРЖАНИЕ

Ареал/славистика/компаративистика.....	7
Заметки по поводу некоторых чешских теорий символа, в особенности в литературоведении.....	17
Авторефлексия/автоаксиология творчества и одна традиция русской эстетической мысли.....	31
Феномен Центральной Европы и литературоведение: Традиции чешской и словацкой литературной компаративистики и новые веяния.....	39
Изменение темы и метода: Сергей Вилинский.....	55
История брненской славистики в переписке и личных документах (избранные эпизоды).....	65
<i>Литература славян</i> Франка Воллмана и русская литература (Размышления по поводу нового чешского издания известной книги) ..	75
Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных связей.....	89
Рождение средневропейской поэтики (Ф. Каутман – О. Филип – Й. Зогата – М. Вивег).....	117
Замечания о концепции русской литературы в книге Дмитрия Чижевского <i>Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts</i> (1964-1967).....	143
По поводу перипетий восприятия русской литературы в чешской и словацкой среде.....	153
Summary.....	165
Библиографическая справка.....	169

АРЕАЛ/СЛАВИСТИКА/КОМПАРАТИВИСТИКА

Исходным методологическим пунктом исследования, которое должно было бы обогащать филологические науки, преподавание языков и литератур (и отчасти оно это делает), является проект интегрированной жанровой типологии, брненская трактовка литературоведческой компаративистики и генологии и, конечно, ареальные концепции, начатые отнюдь не американскими ареальными исследованиями, а совершенно автохтонно – Йозефом Добровским и славистической школой XVIII-го и XIX-го вв. Однако речь вовсе не идет лишь об обогащении филологического обучения с точки зрения информации и полноты контекста: речь идет о важном методологическом смещении, которое можно было бы охарактеризовать как укрепление филологического ядра и усиление окружающей плазмы родственных и близких научных отраслей; таким образом, с одной стороны, это преодоление имманентной замкнутости филологии, а с другой стороны, – постепенное объединение лингвистики и литературоведения как уже разомкнутых составляющих естественного филологического единства. Первоначальная отраслевая синкретичность исходила из меньшей специализации отдельных отраслей: поэтому также появлялись монографии по истории языка и литературы, в которых все понемалось как целое: язык – материал литературы, а литература – плоскость для реализации языка, который манифестируется в текстах и устных выступлениях. К этому постепенно добавлялся временной (исторический, диахронический) и функционально синхронический масштаб. По сравнению с первоначальным пониманием, начала утрачиваться пространственная филология, наиболее всего связанная с зонами и ареалами, т.е. с тем, что происходит в этих пространствах и что необходимо познать и понять. Это природное пространство – но кроме этого и общественное и политическое: на грани природно-социального находится сексуальная жизнь и мир обоих полов, так же как и семья. К филологии здесь естественным образом присоединяются социология, политология, философия, психология, гендерные исследования и т.д. В то же время очевидно, что язык и тексты не постигают ареал полностью, но столь же очевидно – с другой стороны – что ареал в значительной мере

проявляется через язык и его продукты. В этот момент проблематика ареальных исследований наконец перешла из плоскости эмоциональной в реальную. По крайней мере, есть шанс, что так оно и было. Следовательно, не нужно видеть в ареальных исследованиях некую новую религию – стоит вполне объективно рассматривать их как когнитивный инструмент. Вот почему роль «адвоката дьявола» так необходима. Негативная оценка ареальных исследований обыч-но бывает связана с утверждением, что они могут стать новым «мусорным ящиком», т.е. областью, куда сбрасывается все, даже и не ведущее к ка-кому-либо новому познанию, – отсюда делается вывод, что данная отрасль не имеет ни самоограничений и пределов, ни предмета изучения. В этом нет ничего нового, ибо новые или хорошо забытые старые отрасли как раз ищут свои границы и определения «на ходу». Хотя ареальный подход вовсе не нов, ареальные исследования никогда не были независимой, автономной специальностью: в Брно с 2009 года – в рамках про-граммы «Филология» как бакалаврская и магистерская учебные программы, уже несколько лет – в виде «Теории ареальных исследований» как докторская учебная программа. Упомянутая опасность реальна, и подобные семинары должны дискуссионным способом стремиться к поиску этих границ, вместо того чтобы мы их устанавливали *a priori*. Так поступает, например, политология, у нас часто воспринимаемая как производная от историографии и американской и немецкой *political science* (ранее *Staatswissenschaft* – так на их языке она называется и по сей день, например, в Швеции), а также гендерные исследования, экология и пр. К этому необходимо добавить небольшое замечание: я не считаю, что нам следует определять ареальные исследования как нечто абсолютно новое, как это порой делают наши социологи или политологи в рамках нынешнего дискурса. И в XIX-м веке, и позднее все-таки были политические науки, которые по-разному назывались и играли определенную роль в различных идеологиях – подобное наблюдается и у ареальных исследований. Далее, следующие аспекты: А. Особое внимание, уделяемое пространственным (территориальным, зональным) отношениям также не является новым (Гастон Башляр, Мирча Элиаде, Михаил Бахтин), здесь упор сделан – по сравнению с поэтологией и хронотопичностью – на социологический и политологический аспект. Б. С границами новой научной дисциплины и ее диапазоном связана и проблема дисциплинарности и интердисциплинарности, т.е. поиска того проникновения, которое будет собственно сферой новой научной отрасли. Иногда это называют «ремеслом», что означает

владение основными приемами, которые хорошо нам известны из наук естественных, технических, а также точных и гуманитарных. С этой точки зрения преувеличенно утверждается, что эти новые специальности оказываются «надувательством», т.к. их выпускники, собственно говоря, «умеют все и не умеют ничего», что у их новой отрасли нет точно определенного предмета и автоматически регламентированного минимального круга того, что обычно отождествляется с научной специальностью (совокупность тех характерных, несколько мифологизированных познаний, что по традиции передаются, например, в математике, физике, медицине, филологии и т.п.; с этим связаны и ключевые предметы, «кошмар» адептов специальности – к примеру, анатомия в медицине, историческая грамматика или синтаксис в филологии и т.д.). Все это должно быть в новых специальностях профилированным – очевидно, однако, что иным образом и с иным результатом: невозможно все копировать с отраслей, формировавшихся веками. В. С этим связано соотношение между филологическим и социологическим обучением в ареальных специальностях. В брненском исполнении это определено уже тем, что речь идет о филологическо-ареальных исследованиях, т.е., в сущности, о трансценденции филологии, которая является отправной точкой и ядром специальности: ареальность в таком понимании оказывается отнюдь не механическим синтезом или «раствором» филологии и социальных наук, а естественным расширением филологии.

Здесь можно было бы обозначить несколько сфер: ареальные исследования и социальные науки, ареал и фикциональные миры, ареал и история литературы/теория истории литературы, ареал и диалог культур, ареал и культурология.

И речь как раз идет о кардинальной проблеме ареальных исследований в их отношении к ареальной компаративистике, культурологии или диалогу культур, т.е. о проблеме того, что не удалось ни Уоррену, ни Веллеку, ни Дюришину, а именно соединить „extrinsic“ и „intrinsic“, – то, что я много лет назад, в иной связи, обозначил термином «interpoeticita»¹.

Познание языка и литературы в концепции филологическо-ареальных исследований становится не только исходной точкой, средством, но и целью трансценденции к социальным и прочим гуманитарным наукам; побочным продуктом является, конечно, более комплексное познание ареала через язык и его текстовые продукты.

¹ Pospíšil I.: *Úskalí a inspirací*. „Slovenská literatúra“ 1993, 4, s. 292-295.

В сегодняшней славистике размышления об ареале и теории истории литературы не новы, однако в настоящее время они вновь оживают; в чешской традиции достаточно вспомнить Рене Веллека и его исследование, созданное в 30-х гг. прошлого века (Wellek, 1936). Таким образом, то, что под зарубежным влиянием проявляется лишь в эти годы как реакция на долгое отсутствие историчности, оказывается сильно запоздалым (Greenblatt, 1993, 2000, 2005; Bassler, 2001, Elbrich, 1999, Kelly, 2002, Papoušek-Tureček, 2005, Kako pisati..., 2003, Writing Literary History, 2006).

Каждый историк литературы сталкивается с коренной проблемой: что включить в «свою» историю литературы и каким критериям следовать. Так, проблема истории чешской литературы, в которую включаются произведения, написанные на старославянском, латинском и чешском, но не на немецком языке, может послужить показательным примером; другие национальные литературы, особенно в Центральной Европе и на Балкане, находятся в подобной ситуации. Это другой решающий пункт, объединяющий литературоведческую методологию, теорию литературы, историю литературы и, конечно, литературную критику, причем только одна из этих дисциплин сугубо аксиологическая. Имманентные литературоведческие методы, как правило, сталкиваются с упреками в недостаточном видении аксиологических критериев; однако именно член Пражского лингвистического кружка Рене Веллек своим примером доказывает, что его методология старалась высвободиться из имманентного круга, быть «податливее», сильнее воспринимать аксиологические моменты и вводить их в концепцию теории истории литературы и в саму историю литературы. „Konstatovali jsme, že Wellek na rozdíl od Mukařovského literární dějiny považoval za záležitost nejen objektivně registrující, ale i axiologickou a interpretační; v pojetí Mukařovského dále polemizoval s ostrou diferencí literární historie a literární kritiky a také s abstrahováním estetické hodnoty v uměleckém díle” (Pospíšil – Zelenka, 1996, s. 75).

В этом смысле очень важно включить в модель истории литературы и модель истории литературоведения: оно, хотя и формирует по отношению к изучаемой литературе метаотношение, тем не менее с точки зрения культурно-пространственной, т.е. ареальной, является составляющей всего развития литературы, которое оно моделирует и которым оно

моделируется, и рассматривается как целое; это относится далеко не к одной лишь литературной критике, которая участвует в литературном процессе более непосредственно, но и к истории и теории литературы, которые сегодня больше, чем когда-либо до этого, вступают в онтологию литературы как таковую.

Взаимозависимость литературоведения, или эстетики, и конкретных литературных проявлений, была очевидна для недавно ушедшего из жизни философа, эстетика и литературоведа Зденека Матгаузера (1920 – 2007), который в своих трудах сознательно, намеренно систематически объединял эти две области в один континуум. Например, он видел феноменологию не только в философии и эстетике, но и непосредственно в художественной литературе и ее поэтологическом моделировании, регулярно оживлял свои теоретические схемы экскурсами в другие виды искусства, а также в другие системы, обладающие воображительным характером (см., например, его рассуждение о «марионеточном» образе Швейка или о футболе) (Mathauser, 1982, 1989, 2005, 2006). Показателен также интерес теоретика к ключевым литературным феноменам, какими были в его случае В. Маяковский или М. Цветаева.

Как уже отметил Р. Веллек в вышеуказанном исследовании 30-х гг. XX в., современная теория истории литературы не может не содержать в себе аксиологическую ось. Здесь могут возникнуть споры о так называемом «значении» и «равенстве» в литературе. Свое мнение я уже неоднократно выражал, в том числе в рецензиях и отдельных исследованиях, темой которых были книги Ивана Доровского и ныне покойного Яна Кошки – оба они, в сущности, исходят из пространственной концепции Диониза Дюришина и его единомышленников (Pospíšil, 2006, Pospíšil, 2005). Ни один канон не может быть установлен исключительно представителями национальных литератур данной зоны: канон наднационален, он безжалостно перешагивает любые границы; искусство и эстетика не подчиняются никакому диктату, а если и подчиняются, то лишь временно. Никакая позитивная дискриминация не может быть постоянным сопутствующим элементом развития – вероятно, лишь его преходящим и вспомогательным средством, ибо развитие обладает своими собственными особенностями, к которым принадлежит и категория значительности: значительное автоматически обладает преимуществом перед незначительным – с этим ничего не поделаешь, и исключения лишь подтверждают правило.

Вторая половина XX в. означала для теории и истории литературы громадный интерес к массовой культуре, массовой литературе, или так называемой «тривиальной литературе». Этот поворот более чем понятен. Конец 60-х лет XX в. служил предзнаменованием – по сути, во всех видах искусства – обращения от модернизма к постмодернизму. Доминантной чертой литературы конца 20 и начала 21 в. является массивное вторжение тривиальности. Если считать ее основой определенную альтернативность поэтики и ее моделей, то здесь уже можно найти отчетливые точки соприкосновения с постмодерном. Здесь конец 60-х – начало 70-х гг. XX в. действительно является переломным периодом практически во всем: конец романтических революций в США и Западной Европе, конец «человеческих лиц» социализма в так называемой Восточной Европе, или в советском блоке, реальность, status quo, четкие контуры – все это знаменует и новые сдвиги в видении искусства и мира. Рядом с иллюзией и намеренной дезиллюзией в искусстве проявляется более сильная тенденция вновь понимать искусство как игру, как альтернативный мир, у которого с реальным миром довольно мало общего. В то же время, создание новой формы теории истории литературы по-прежнему больше связано с философией всеобщей истории, с представлением о постоянной конфронтации с прошлым литературным развитием, которое, подобно подземной реке, возвращается в нашу современность: хотя в этом нет ничего нового, однако сила, интенсивность и значение этого столкновения намного сильнее, чем в прошлом, достаточно сравнить бум этой литературы в мировом масштабе – например, и в Центральной Европе – с тем, что в чешской литературе представляли собой поэтика и стиль барокко, когда-то ожившие в произведениях католических авторов междувоенного периода, и характернее всего у Ярослава Дурыха (1886 – 1962). Таким образом, теоретику истории литературы следует больше принимать во внимание отблески прошлых этапов развития в современности и, опять же, отражение литературного прошлого сегодня.

Публикация Джона Нойбауэра и Марсела Корнис-Поупа в нескольких томах *History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries (3 mm. 2004-2007)* вызывает ряд подтверждений, но в то же время вопросов и проблем, возвращающих нас к собственной цели литературоведческой компаративистики. Й. Грабак в своем, ставшем сегодня уже классическим, учебнике по литературоведческой компаративистике (Hrabák, 1976) демонстрирует ее

как метод более глубинного познания литературы и ее феноменов, причем речь у него идет прежде всего о сравнении морфологическом, т.е. текстовом, поэтологическом; это проистекает уже из его дуалистического понимания литературного артефакта одновременно как знака и как отражения. Последующие концепции литературоведческой компаративистики уже превышали границы этого представления, в особенности концепция Диониза Дюришина. Он, в сущности, уже покинул ниву компаративистики и постепенно создавал новую научную отрасль, т.е. межлитературность со всеми ее аспектами, включая особые межлитературные общности (в его словацкой терминологии «osobitné medziliterárne spoločenstvá») и литературные центризмы. Трудам так называемого «международного коллектива» единомышленников Дюришина в публикации *History of Literary Cultures of East-Central Europe*, к сожалению, придано недостаточное значение.

Признавая, что поэтологические достоинства не знают и не должны знать границ даже так называемой «позитивной дискриминации», ибо читатели оценивают эстетический эффект и прочие компоненты и функции литературного артефакта, а не интересуются историко-политическо-культурными причинами возникновения такого произведения, мы должны одновременно отказаться и от усилий ценностно унифицировать литературный процесс, т.е. представлять одну модель в качестве образцовой и, следовательно, достойной подражания. Затем, понятие «belatedness», т.е. некая «отсталость», «опоздание», будет термином пейоративно аксиологическим, и значит, фактически дискриминационным. У каждой национальной литературы есть свои парадигмы развития; ни одна литература не обязана «догонять» или «подгонять» другую, ибо она автономна в своем развитии и может вступать во взаимодействие с другими сущностями, может их имитировать, трансформировать их импульсы, но в остальном она обладает своим собственным, аксиологически автохтонным ритмом.

Эту мысль я уже формулировал ранее (например, см. в общем Pospíšil, 2005) и назвал это явление «prae-post efekt» или «prae-post paradox».

Понятие «literary culture» в какой-то степени возвращает нас к концепции так называемой культурно-исторической школы XIX в., но одновременно с этим делает акцент, с одной стороны, на науке о знаке, с другой стороны, – на пространственности литературы, включая центры взаимопроникновения. Так же, как в *Теории литературы* Уэллек и Уоррена,

в объемной публикации *History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries* соединение „extrinsic“ и „intrinsic“, в общем-то, отсутствует или оказывается довольно слабым; историю литературы невозможно заменить историей культурного пространства. Подробнее об этих проблемах я писал в других своих работах (Pospíšil 2008) и в связи со спорной проблемой *Ostmitteleuropa*.

Литература

Areál – sociální vědy – filologie (2002). Ed. Ivo Pospíšil. Brno, Kabinet integrované žánrové typologie, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Bassler M.: *New Historicism: Literaturgeschichte als Poetik der Kultur*. Tübingen 2001.

Comparative Cultural Studies in Central Europe. Editors: Ivo Pospíšil (Brno), Michael Moser (Wien), Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2004.

Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003.

Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět Brněnské texty k slovakistice VI. Eds.: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU, Brno 2004.

Dorovský I.: *Slovanské meziliterární shody a rozdíly*. Masarykova univerzita. Brno 2004.

Greenblatt S.: (ed.): *New World Encounters*. University of California Press, Berkeley 1993.

Greenblatt S.: *Practising the New Historicism*. University Press. Chicago 2000.

Greenblatt S.: *The Greenblatt Reader*. Mass. Blackwell Publ. Malden 2005.

Horyna B.: *Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis*. Praha, Vyšehrad 2005.

Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt – metodologie – terminologie – struktura oboru – studie. Hlavní autoři: Ivo Pospíšil –

Jiří Gazda – Jan Holzer. Editor: Ivo Pospíšil. Masarykova univerzita. Brno 1999.

Kako pisati literarno zgodovino danes? Razprave. Uredila Darko Dolinar in Marko Juvan. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana 2003.

KOŠKA J.: *Recepce je kreace.* Veda, Bratislava 2003.

Litteraria Humanitas XI, Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Perekrestki kul'tury: Srednjaja Jevropa. Ed. Ivo Pospíšil. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno 2002.

Litteraria Humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context. Editors: Ivo Pospíšil, Michael Moser, Stefan M. Newerkla. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno 2005.

Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser). Kolektivní monografie. Eds: Ivo Pospíšil, Jna Zouhar. Katedra filosofie, Ústav slavistiky FF MU, Brno 2008.

Mathauser Z.: *Literatúra a anticipácia,* prel. Ján Kopál a Peter Liba, doslov František Miko, Tatran. Bratislava 1982.

Mathauser Z.: *Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu.* Blok, Brno 1989.

Mathauser Z.: *Báseň na dosah Eidosu. Ke stopám fenomenologie v ruské literatuře a literární vědě.* Univerzita Karlova, Praha 2005.

Mathauser Z.: *Básnivě nápovědi Husserlovy fenomenologie.* Filosofia, Praha 2006.

Papoušek V. – Tureček, D.: *Hledání literárních dějin.* Paseka, Praha – Litomyšl 2005.

Poetics Today. Estrangement Revisited. Vol. 26, n. 4, Winter 2005, Duke University Press. Durham 2005.

Pavelka J. – Pospíšil I.: *Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů.* Brno 1993.

Pospíšil I. – Zelenka M.: *René Wellek a meziválečné Československo,* Masarykova univerzita, Brno 1996.

Pospíšil I.: *Genologie a proměny literatury.* Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta. Brno 1998.

Pospíšil I.: *Paradoxes of Genre Evolution: the 19-th Century Russian Novel.* „Zagadnienia rodzajów literackich“, tom XLII, zeszyt 1-2 (83-84), Łódź 1999, s. 25-47.

POSPÍŠIL I.: *Slavistika na křižovatce.* Brno 2003.

Pospíšil I.: *Problémy a souvislosti současné genologie*. Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica 2, Universitas Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 29-46.

Pospíšil I.: *Slavistika jako české rodinné stříbro*. Praha 2004.

Pospíšil I.: *Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti*. Ed.: Jaroslav Malina, obálka, grafická a typografická úprava Josef Zeman – Tomáš Mořkovský, Martin Čuta, ilustrace Boris Jirků. Brno, Nadace Universitas, Edice Scientia, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA 2005.

Pospíšil I.: *Literary History, Poststructuralism, Dilettantism and Area Studies*. In: „Writing Literary History“. Selected Perspectives from Central Europe. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main - Berlin – Bern – Bruxelles – New York - Oxford – Wien 2006, s. 141-152.

Pospíšil I.: *Teoretická konstrukce a naplněnost kontextu (In margine „nové západní literárněvědné rusistiky“)*. Brno, „Opera Slavica“ 2006, č. 3, s. 31-36.

Pospíšil I.: *Žánry virtuální autenticity a existenciálního znejistění: domov a svět*. In: Libor Pavera a kol.: *Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu*, sv. III, Opava 2006, s. 213-236.

Pospíšil I.: *Co je to areálový výzkum. Cíle, metody, problémové okruhy, tendence a příklady*. In: Břetislav Horyna, Josef Krob (eds): *Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát*. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2007, s. 90-108.

Pospíšil I.: *Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine*. Primerjalna književnost 31.2 2008, s. 137-148. .

Tihanov G.: *The Master and the Slave. Lukács, Bakhtin, and the Ideas of Their Time*. „Oxford University Press“ 2000, 2002.

WELLEK R.: *The Theory of Literary History*. Travaux de Cercle Linguistique du Prague 6, Praha 1936.

Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main -- Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ЧЕЖСКИХ СИМВОЛА, В ОСОБЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Проблематика символа традиционно, испокон веков, – тема мультидисциплинарная и интердисциплинарная, хотя теория символа стала развиваться наиболее выразительным образом лишь сравнительно недавно. В бывшей Чехословакии период 1969-1989 гг. обычно почти однозначно характеризовался как период „нормализации“; сам термин восходит к так называемым московским протоколам, подписанным репрезентантами бывшего СССР и бывшей Чехословакии в августе 1968 г. Хотя протоколы касались только периода сразу же после оккупации Чехословакии пятью странами бывшего Варшавского договора, задачей которого было привести к так называемой нормализации отношений ЧССР к СССР и его союзникам в смысле идеологической однородности, понятие стало – благодаря сомнительной заслуге чехословацких журналистов после 1989 г. – символом двадцатилетия советской оккупации страны и своего рода политики возвращения к бывшей авторитарной политике коммунистической партии, хотя в отношении этого периода сам Густав Гусак, первый, а позже генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии, употреблял термин консолидация.

Тем не менее, период застоя и мракобесия оказал решающее негативное влияние на развитие гуманитарных наук в целом, эстетики, искусствоведения и литературоведения в особенности. Хотя нельзя сказать, что это было тотальное возвращение в 50-е годы XX века сталинского тоталитаризма, однако возобновился тотальный партийный надзор над искусством и его теорией в целом, а фактически и автоцензура (предварительная цензура была по закону запрещена в 1968 г.), т. е. и надзор за книгами и авторами, которые потерпели поражение в 1969-1970 гг. или вмешивались в политические действия на стороне реформаторов, называемых ревизионистами и оппортунистами. Тоталитарные или же, точнее, авторитарные тенденции проявлялись в университетах, в академии наук и т. д. Многие были уволены представителями власти со своих прежних позиций и были вынуждены работать в других, неинтеллектуальных сфе-

рах, в том числе мойщиками окон, кочегарами и т. п. Это, на самом деле, ощутимо коснулось прежде всего гуманитарных наук. Марксизм потерял свой критический и антидогматический, творческий характер, который он постепенно приобретал в 60-е годы XX века благодаря заслуге позже пораженных реформаторов; репрессивная волна нетворческого псевдомарксизма-ленинизма, пропагандируемого партийным идеологическим аппаратом, хлынула на все. Мишенью самозванных идеологов стали и отдельные научные методы, в том числе структурализм, который стал постепенно возобновляться посредством новых поколений исследователей – учеников прежних корифеев, которые отказались от его методологии к концу 40-х годов прошлого века – частично под давлением грядущей карьеры, частично из-за угроз со стороны властей, представителями которых они являлись и сами, в особенности после 1945 г. И советский структурализм Ю. Лотмана, и семиотика, мифоэтика оказались под угрозой. Автор настоящей статьи стал очевидцем подобных явлений в связи с защитой своей кандидатской диссертации о русском романе-хронике; члены тогдашней государственной комиссии, прежде всего пражане (т. к. в Праге как в столице идеология всегда и при всех режимах проявляется наиболее сильным, уничтожающим и отвратительным образом), обвиняли автора диссертации в структурализме, тайком привозимом обходными путями из СССР: чтобы принять решение о результате защиты, они совещались четыре часа и только благодаря тогдашнему замдекана по научной части, фонетику и фонологу проф. Я. Пачесовой, согласились в конце концов с положительным решением. Трудно представить себе оппонентскую рецензию, которая основывалась на том, как часто автор избегает слова «социализм» и т. д. В то время больше творческой свободы было не только в СССР, но и в ГДР, не говоря уже о Польше и Венгрии. Парадоксальным образом эта неприязнь к имманентным методам привела в чешской среде к новому некритическому обожанию этих методов и, таким образом, к торможению проникновения новых постструктуралистских веяний, в том числе гадамеровской герменевтики, разных психологических методов, новой социологии литературы, Konstanzer Schule и т. п.

Символом тогдашних методологических поисков является Франтишек Каутман (родился в 1927 г.) – журналист, редактор издательства, литературовед и литературный критик, издатель, поэт, переводчик и прозаик, достоевсковед, деятель культуры, который подписал известный документ чехословацкого диссидентства *Хартия 77*, член Dostoyevsky Socie-

tu, член Общества Ф. Кс. Шальды, основатель и секретарь Клуба освобожденного самиздата. Доминантной чертой его художественных и философских размышлений являются экзистенциальные проблемы человека под гнетом истории, одиночество и тревога. Ф. Каутману всегда были свойственны оригинальность, чувствительность и скепсис: он обнаруживает неожиданные аспекты творчества С. К. Нейманна, своеобразно анализирует Ф. Достоевского, Ф. Кафку и Э. Гостовского, Т. Масарика, Ф. Шальду, Я. Паточку, демонстрируя чехам импульсы литературной критики русских революционных демократов и применяемую в литературоведении герменевтику (в статье *Герменевтика и интерпретация*, 1969 г., Опубликовано 1996 г.). Именно в его статье конца 60-х годов в чешскую среду возвращается более чувствительный подход, связанный с герменевтическими поисками немецкой философии, эстетики и литературоведения, хотя в каутмановской трактовке речь шла о критическом подходе, который, к сожалению, не был применен в годы герменевтической конъюнктуры².

² См. мою словарную статью о Ф. Каутмане: Kautman, František (* 1927 в городе Ческе Будейовице), в: Alexej Mikulášek, Jana Švábová, Antonín B. Schulz a kol.: *Literatura s hvězdou Davidovou 2. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století*. VOTOBIA, Praha 2002, с. 42-48. См. также мою статью *Одна среднеевропейская судьба (Франтишек Каутман как литературовед и беллетрист)*. In: *Comparative Cultural Studies in Central Europe*. Editors: Ivo Pospíšil (Brno), Michael Moser (Wien). Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2004, с. 175-191. См. также другие мои рецензии и статьи об этом авторе: *Metody, přístupy a typy literární vědy*. (František Kautman: *K typologii literární kritiky a literární vědy*. Praha 1996, 189 s.). SPFFBU, XLVI, D 44, 1997, s. 161-164; *Literatura a citlivost* (F. Kautman). Univerzitní noviny 2001/12, s. 51-54; *Detail jako emblém doby* (František Kautman: *O literatuře a jejich tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977-1989*. Praha: TORST, 1999, 294 s.). *Slovak Review, A Review of World Literature Research*, vol. XI/2002, No. 2, s. 174-178 и др. Из его творчества обычно приводятся: *Boje o Dostojevského*. Praha 1966. St. K. Neumann. *Člověk a dílo 1875-1917*. Praha 1966. Opilý satelit. Olomouc 1966. *Literatura a filosofie*. Praha 1968. F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij. Praha 1968. *Nádhera rovnováhy*. Praha 1969. Masaryk, Šalda, Patočka. Praha 1990. *Svět Franze Kafky*. Praha 1990 (с названием Franz Kafka, 1992). *Mrtvé rameno*. Praha 1992. *Dostojevskij – věčný problém člověka*. Praha 1992. *Naděje a úskalí českého nacionalismu (politický profil V. Dyka)*. Praha 1992. *Prolog k románu*. Praha 1993. *Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského*. Praha 1993. *K typologii literární kritiky a literární vědy*. Praha 1996. *Jak jsme s Jackem hledali svobodu*. Praha 1996. *Román pro tebe*. Praha 1997. *O literatuře a jejich tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977-1989*. Praha 1999. *O smyslu oběti. Biblické reflexe*. CHERM, Praha 2003. См. также нашу статью *Рождение среднеевропейской поэтики (Ф. Каутман – О. Филлип – Й. Зогата – М. Вивег)*. In: *Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы X международной научной конференции в двух частях. Между-*

Вопреки сказанному о времени так называемой чехословацкой нормализации/консолидации периода 1970-1989, не все было целиком уничтожено и не все очутилось в научном подполье. Кроме периферийных кафедр и институтов вне Праги, в том числе и тогдашней брненской русистики (ей в большей части удалось избежать прямолинейной идеологии благодаря ориентации на литературную морфологию и славистическую традицию эйдологии Франка Вольмана, на изучение литературных направлений и жанров), такой центр возник при определенной идеологической поддержке под эгидой общего эстетика и знатока изобразительных искусств Савы Шабоука (Sáva Šabouk, 1933-1993) в Праге, в Институте теории искусств тогдашней Чехословацкой Академии наук.

С. Шабоук³, который приобрел доверие властей благодаря своим книгам, направленным против так называемого ревизионизма в теории искусства, стал директором института и совместно со своими сотрудниками, среди которых были и видные лица Пражской весны, исключенные из нормальной научной и общественной жизни, т. е. из вузов и с ведущих позиций в академии наук с запретом на педагогическую деятельность, создал особую школу эстетики, исследовательский коллектив, выступающий под разными названиями (Mezioborový tým pro vyjadřovací a sdělovací systémy umění, Pražský tým pro vyjadřovací a sdělovací systémy umění).

Ключевым произведением по методологии исследовательского коллектива является книга *Искусство и действительность (Umění a skutečnost, 1976)*⁴, в которой общая проблематика теории искусства, в особенности литературы, излагается в рамках особой системы, связывающей во едино структурные принципы с базисом философского марксизма. В свое время и, главным образом, позже книга считалась манифестом так называемой нормализации в науке, но, насколько нам известно, так и не стала до сих пор объектом обстоятельного критического анализа. Стержневым автором концепции книги был Зденек Матхаузер, который в институте под формальным руководством С. Шабоука нашел научный приют и получил возможность публикации (в Чехословакии ему было позволено пуб-

народная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Учреждение образования „Гродненский Государственный Университет имени Янки Купалы, Гродно 2005, часть 1, с. 79-91. ISBN 985-417-703-3, ISBN 985-417-702-5.

³ Из его монографий приводим следующие: *Jazyk umění*. Praha 1967. *Břehy realismu*. Praha 1973; *Člověk a umění v struktuře světa*. Praha 1974; *Umění, systém, odraz*. Praha 1973; *Tři polemické studie*. Praha 1976; *Umělecká informace*. Praha 1989.

⁴ *Umění a skutečnost. Kolektiv mezioborového týmu pro vyjadřovací a sdělovací systémy umění, vedoucí týmu Sáva Šabouk*. Praha 1976.

ликоваться только в журнале *Эстетика*, когда главным редактором был именно Сава Шабоук, а также во внутренних изданиях института, частично в Словакии и к концу 80-х г. в Брно). Основным документом является и *Краткий словарь концепции пражской исследовательской группы*.⁵ Как уже было сказано, до сих пор никто серьезно не занимался проблематикой методологии упомянутого исследовательского коллектива, который в столь нелегкой политической обстановке в Чехословакии 70-х гг. XX века развивал свою особую концепцию, касающуюся также символа, – может быть, за исключением одной бакалаврской работы, которая представляет собой скорее совокупность портретов трех членов коллектива⁶.

Наши настоящие заметки о текстах, связанных с символом, по-разному исходят из круга и атмосферы действий этого исследовательского коллектива, постепенно распадавшегося в связи с ослаблением политического влияния С. Шабука по личным причинам, с политическими событиями в Чехословакии второй половины 70-х гг. XX века, с эмиграцией и т. п. Настоящие заметки являются, следовательно, попыткой вернуться к импульсам этих исследований и, одновременно, своего рода ретро, т. е. фрагментом истории чехословацкой и чешской эстетики XX века.⁷

Концепция символа, которая исходит из личных наблюдений отдельных исследователей и которая в конце концов впадает в широкий поток концепции Пражского исследовательского коллектива по системам выражения и коммуникации Савы Шабука, будет здесь показана на примере нескольких произведений, авторами которых являются лица, так или иначе связанные с работой упомянутого исследовательского коллектива. В самом начале следует сказать, что они движутся в рамках марксистской философии, стараясь особым образом связать с ней – частично скрытым образом – плодотворные поиски двух основных философских направле-

⁵ *Krátký slovník koncepce pražského týmu pro studium vyjadřovacích a sdělovacích systémů umění, vedoucí týmu Sáva Šabouk*, Praha 1977; перевод на русский язык: *Краткий словарь межотраслевого изучения систем выражения и сообщения в искусстве*, Прага 1978.

⁶ Helena Beranová: *Vůdčí postavy české estetiky v době normalizace*. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Krajetl. Brno 2011.

⁷ По инициативе З. Матхаузера автору настоящих заметок выпала честь два раза выступать перед членами коллектива, когда завершался первый, самый плодотворный этап работы исследовательской группы (в 1980 г), а затем в самом его конце, когда он постепенно уступал на задний план (1988).

ний, господствующих в межвоенной Чехословакии, а именно структурализма и феноменологии.⁸

Оба подхода имеют сравнительно близкий характер; в основном они намеренно игнорируют разного рода психологические методы. Интересно, что именно в отсутствие психологизма упрекает структуралистов автор нашумевшей в негативном смысле книги 60-х гг., переизданной в начале 70-х гг. XX века, а именно Л. Штолл, хотя я не уверен, что он является единственным автором книги, которая, несмотря на схематичность аргументов, содержит рациональное ядро критического изложения имманентных методов в общем (см. далее).

Не только межвоенный период, но и послевоенные повороты исторического и идейного развития тогдашней Чехословакии иногда свидетельствуют о странных переплетениях. О них же говорит зачастую и корреспонденция некоторых корифеев не только 60-х гг. XX века, но и более позднего периода так называемой нормализации/консолидации, в том числе О. Суса, несмотря на характер его статей 60-70-гг. прошлого века, что будет проиллюстрировано ниже.

В серии своих работ, появившихся в самом начале 70-х гг. прошлого столетия, С. Шабоук определял рамки своей концепции искусства и действительности. Хотя его справедливо упрекают в злоупотреблении напряженной политической ситуацией и в аморальности его атак на исследователей, которые были политически дискриминированы и даже преследовались, эти концепции заслуживают особого внимания, так как показывают возможности развития новых путей искусствоведения, идущих по антропологической линии.

В этом смысле концепция С. Шабоука и упомянутого З. Матхаусера не совпадают, так как у них обнаруживаются разные источники: с одной стороны, антропологизм у С. Шабоука и, с другой стороны, феноменология у З. Матхаусера. В трех книгах С. Шабоука 70-х гг., а именно *Břehy realismu* (*Берега реализма*, Svoboda, Praha 1973), *Umění, systém, odraz* (*Искусство, система, отражение*, Horizont, Praha 1973) и *Člověk a umění v struktuře světa* (*Человек и искусство в структуре мира*, Čs. spisovatel, Praha 1974), символ и его концепция извлекаются из общей концепции

⁸ См. I. Pospíšil: *Literaturwissenschaftliche Technologie, Psychologie und Rezeptionsästhetik: die tschechische und slowakische Situation*. In: *Wissenschaft und Systemveränderung. Rezeptionsforschung in Ost und West – eine konvergente Entwicklung?* Herausgegeben von Wolfgang Adam, Holger Dainat, Gunter Schandera. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003, ISBN 3-8253-1491-X, с. 245-257.

искусства и действительности. В книге *Берега реализма* представлена полемика с французским марксистом Р. Гароди, причем особая глава отводится проблематике символик, т. е. особых совокупностей символических образов, излагающихся на примере картины П. Пикассо *Герника* (*Guer-nica*). Продолжая свои размышления, изложенные в книге *Язык искусства* (*Jazyk umění*, 1967, 1969), он говорит об иконических символах, а именно в связи с символической потенцией быка. Уже в этих интерпретациях появляется намек на психологический, рецептивный характер символа. По его мнению, иконическим символом может быть изображение того, что к себе притягивает относительно стабилизированный комплекс взаимно переплетенных референционных психологических структур, которые выходят за пределы непосредственного значения семантической структуры иконического знака.⁹ Отсюда автор приходит к определению и типологии иконического символа, других символов и аллегорий.

Иконический символ содержит два взаимно переплетенных уровня иконического художественного знака и уровень символа. Во внехудожественной семантике, говорит Шабоук, преобладают знаки, в которых не встречаются ни чувственно наглядная идентичность знака и представляемой действительности, ни их причинно-следственные отношения. В его понимании, как он указывает,¹⁰ это свойство символа сохраняется: второй семантический слой иконического символа выходит за пределы возможностей непосредственного выражения; однако это вообще не значит, что он от них целиком изолирован. Как и аллегория, иконический символ нуждается в определенном ситуационном коде. В этом смысле все иконические символы являются потенциальными аллегориями, и на определенном этапе интерпретации все иконические символы могут трансформироваться в аллегии.

С. Шабоук полемически отнесся к концепциям К. Юнга и С. Лангер, чье понимание символа восходит, как известно, к Э. Кассиреру. С этой точки зрения С. Шабоук не был сторонником чересчур большой степени абсолютизации символа как средства художественного выражения. Символ как элемент художественного произведения является, на его взгляд, только частью ее целостной артикуляционной функции по отношению к нашему опыту, так что эта функция содержит и другие компоненты произведения, в том числе несимволические иконические знаки, фигуратив-

⁹ S. Šabouk: *Břehy realismu*, Praha 1974, с. 250.

¹⁰ S. Šabouk: *Břehy realismu*, Praha 1974, с. 263.

ные слои и т. д. Художественное произведение благодаря своей целостности выявилось и как рассеянная и незаконченная денотация, в рамках которой манифестируется принцип перманентного отражения.

В связи с более тонким анализом следует соблюдать интервал структуры действительности и структуры артефакта: символ, таким образом, можно воспринимать только как один из вступительных элементов художественных семантических структур, т. е. значение символа содержит и приемы, зафиксированные еще вне самого произведения, в то время как художественное произведение как целое всегда само непосредственно и оригинально воспроизводит эти приемы, иногда при помощи символических приемов.

В книге *Umění, systém, odraz*¹¹ в контексте марксистской теории искусства он выделяет мимесис как своего рода течение семантических энергий, связывающее воедино протекание (dění) материального слоя художественного произведения, протекание семантического слоя, содержательного слоя и, в результате, рефлексию бытия в системе художественной традиции.

В монографии *Člověk a umění v struktuře světa*¹² представлен антропологический протест Шабоука против структуралистского вытеснения человека из искусства и истории, своеобразное сравнение полемики 60-х годов XX века в бывшей Чехословакии на уровне сюрреализма и марксизма. Речь идет о том, что является причиной критики структурализма в книгах С. Шабоука – разве это не своеобразное возвращение к истокам психологизма или конструирование культурно-антропологической модели анализа артефакта? Думается, что именно Шабоук не избегал «нового психологизма», чего, напротив, нельзя сказать о некоторых других стержневых представителях исследовательского коллектива, в том числе о З. Матхаусере.

В последней его книге *Umělecká informace* символ является составной частью воздействия художественных структур на все сферы человеческого бытия; в этом смысле автор говорит в связи с художественной информацией о навыке к искусству, из которого вытекает потребность его интерпретации. Это обнаруживается уже в его ранней монографии *Jazyk umění*¹³ – кроме его одержимости иконическим символом и связью вос-

¹¹ S. Šabouk: *Umění, systém odraz*. Horizont, Praha 1973.

¹² S. Šabouk: *Člověk a umění v struktuře světa*. Čs. spisovatel, Praha 1974.

¹³ S. Šabouk: *Jazyk umění*. Svoboda, Praha 1969.

приятия символа и культуры узуса, упомянутым выше навыком к символическому ряду.¹⁴

Символ представляет в концепциях С. Шабоука лишь составную часть общей проблематики искусства и действительности. Тем не менее, Шабоук сосредотачивается на проблематике иконического символа и его связи с аллегорией в поисках границ этих двух художественных образов. То, что представляет собой интерес, связано с переплетениями символа и символической ситуации в самой действительности, в обыкновенных, узуальных коннотациях в смысле семантического интервала художественного образа и действительности на фоне антропологическо-психологического аспекта, связанного с критикой депсихологизации артефакта в некоторых ранних структуралистских концепциях.

Намного сложнее, подробнее и глубже выглядит проблематика символа, метафоры и аллегории в концепциях З. Матхаусера 70-80-х гг. XX века. Он развивал свои идеи после переворота 1989 г. в разных направлениях; для нас, однако, существенно скорее то, что связано с его работой в выше упомянутом исследовательском коллективе.

Своего рода синтезом его многочисленных статей, опубликованных в журнале *Эстетика* и в Словакии (Нитра, Братислава), была книга, которая буквально пробила благодаря усилиям нескольких брненских редакторов и литературоведов и появилась только в 1989 г., а затем была раскритикована некоторыми запоздалыми революционерами, а именно *Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu*.¹⁵ Источником ее философии была феноменология, в которой автор подчеркивал, главным образом, антипсихологический характер; об этом же и в том же ключе он говорил и в ряде опубликованных еще при его жизни бесед.¹⁶ З. Мат-

¹⁴ S. Šabouk: *Jazyk umění*. Svoboda, Praha 1969, s. 63.

¹⁵ Blok, Brno 1989.

¹⁶ См. *Umění teorie a Zdeněk Mathauser*. Slavia, Slovanský ústav, Euroslavica 2000, s. 419-425. См наши рецензии *Hĺbka a vzopätie*. Z. Mathauser: *Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu*. „Slovenské pohľady“ 1990, č. 6, s. 96-103; *Nové práce Zdeňka Mathausera* (Z. Mathauser: *Estetické alternativy. Jazyk vědy a jazyk poezie*. GRYP, Praha 1994, 142 s. Z. Mathauser: *Mezi filosofií a poezií*. FILOSOFIA, Praha 1995. Opera Slavica 1995, č. 3 (roč. V.), s. 58-59; см также наш разговор со З. Матхаусером по случаю его юбилея *Hledejme kritéria duchovního bytí*, *Rovnost* 27. 5. 1995, s. 11. См далее: *Cesta k „zázraku neubývání“*. *Rozhovor s Věrou Linhartovou*. „Univerzitní noviny“, Brno 2000, č. 7-8, s. 11-14. См. далее нашу статью *Zdroje vidění Zdeňka Mathausera*. In: *Literatura a filozofie (Zdeněk Mathauser)*. *Kolektivní monografie*. Изд.: Ivo Pospíšil, Jan Zouhar. Katedra filosofie, Ústav slavistiky FF MU, Brno 2008, ISBN 978-80-210-4546-0, s. 131-141.

хаусер был мастером рассказывать свои истории, на материале которых излагал и очень сложные теоретические вопросы. Можно сказать, что сами его изложения – нечто вроде того, что он показательно называл „квадратом художественной специфичности“.¹⁷

Одним из подразделов книги является изложение соотношения символа и аллегии. В процессе сравнения обеих категорий Матхаусер исходит из точного определения типологии и аксиологии, т. е. дифференцирует, разумеется, знаковую сущность, например, басни и художественную ценность образа (стереотип лисицы в некоторых звериных эпосах). Кроме того, следует дифференцировать аллегию как тип тропа и как жанр. Символ как в жизни, так и в искусстве вырастает из аллегии, однако модифицирует ее, хотя и аллегия характеризуется определенной индивидуальностью образа. В связи с концепцией *La métaphore vive* Поля Рикёра: аллегия не полностью отделена от символа, она в нем интегрирована так, что связывается с другими тропами, в особенности с метафорой. Иначе говоря, символ – это аллегия, которая отказалась от своей транспарентности, прозрачности, легкой удобочитаемости («читабельности»), которая стала более имманентной. Таким образом, возникает круг «аллегия – живая метафора – символ».

Однако живые метафоры Рикёра не существуют вне устойчивых, статических метафор; они перерабатывают, переплавляют их. Символ в общем переходит в аллегию с направленностью к синтетичности, монизму, к единству разных человеческих свойств, к отражению в двух направлениях, к личностному принципу, к многозначности, апостериорности, конкретности, историчности, динамичности и семантической незаконченности, открытости. Символ не «дан», он скорее «задан» как своего рода задание, однако без конечного решения. Символ, с другой стороны, – внутренний, спонтанный, связанный с подтекстом и намеками, ломкий, хрупкий и переливающийся с огромным генерализирующим, обобщающим сверхдавлением.¹⁸

В связи с концепцией символа Я. Волка Матхаусер корректирует свою первоначальную концепцию и приходит к декомпозиции первоначального треугольника референции, т. е., в результате, к квадрату как не только к семантической, но и к онтологической модели. Таким образом,

¹⁷ Z. Mathauser: *Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu*. Blok, Brno 1989, с. 61 и далее

¹⁸ Там же, с. 51-55.

символ приводится в движение, его протекание представляет собой соединение обоих типов осцилляций, а именно аллегорического и метафорического, путем комбинации опрокидывания и откладывания на обеих сторонах квадрата. Художественное произведение в общем возникает, таким образом, как своеобразное взаимное семантическое закрепление двух или более объектов: в этом смысле автор говорит об эстетическом идеале и реале. Именно в символе, в отличие от аллегории, кульминирует равновесие между прямым и переносным значением (Лосев); по Матхаусеру также (а может быть, и точнее) – между аллегорическим и метафорическим.¹⁹

В связи с интенцией Э. Гуссерля автор отказывается от психологической интроспекции, для которой смысл интенциональных проекций недоступен. Однако, в отличие от Гуссерля, он говорит о глубинном смысле как о пространственной категории. В заключение он определяет квадрат художественной специфичности как совокупность левой, объектной стороны квадрата, т. е. оси «объект изображения – эстетический реал – материал»; на его противоположной, рефлексивной, морфологической стороне развивается ось «знак – метазнак – вещь». Кровообращение художественной ситуации, таким образом, проходит через все вершины квадрата.²⁰

В то время как С. Шабоук воспринимает символ как составную часть общих проблем искусства и тяготеет к антропологической концепции критики депсихологизации структуралистов, оценивая своего рода психологизм, а З. Матхаусер, напротив, феноменологически отказывается от излишней психологизации, конструируя динамический, протекающий квадрат художественной специфичности, Й. Павелка в книге *Anatomie metaforu*²¹ приводит два термина, а именно «несобственный символ» (символом является потенциально каждое слово) и «собственный символ» (единичное неузвальное, индивидуальное применение символа). Из символических форм вообще он выделяет категорию особого литературного символа, указывая одновременно на его связь с метафорой приблизительно в смысле концепции З. Матхаусера, однако тяготеет скорее к его литературности и в меньшей степени – к философичности. Опираясь на сравнительно популярные тогда концепции символа А. Ф. Лосева, он под-

¹⁹ Там же, с. 75-76.

²⁰ Там же, с. 91.

²¹ J. Pavelka: *Anatomie metaforu*. Blok, Brno 1982.

черкивает литературность символа, т. е. старается изложить его сущность, прежде всего, с языковой точки зрения. От семантико-грамматического контекста, по его словам, зависит, вступает ли это лексикализованное символическое значение в процесс артикуляции значения литературного артефакта. В связи с этим он приводит термин «символические артикуляционные механизмы» как составные части общей символической структуры, которые играют ключевую роль в динамическом восприятии художественного произведения – в смысле, близком квадрату художественной специфичности З. Матхаусера.

Кажется, что все попытки конституировать символ как составную часть специфичности художественного произведения, связанные с концепцией полузабытого Пражского исследовательского коллектива 70-80-х гг. XX века, являются, вероятно, прошлым, пройденным этапом теории искусства. Наблюдаются здесь, однако, и аллюзии, семантические связи, реминисценции на фоне других концепций и контекстов, зачастую неожиданных.

К концепции живого символа П. Рикёра возвращается Вит Гушек, осциллирующий между символом как психическим и физическим продуктом. Жаль, что конфронтация с выше приведенными попытками отсутствует²²; символ выходит за пределы искусства в общую плоскость философии, религии и социальной антропологии.²³

Оба направления Пражского исследовательского коллектива по изучению систем выражения и коммуникации искусства: т. е. феноменологическое (Матхаусер) и антропологическое, не избегающее элементов психологизма (Шабоук), – встречаются в концепциях брненского эстетика 60-х гг. прошлого века, исследователя (между прочим, русского и, может быть, частично еврейского происхождения) Олега Суса (1924-1982), жертвы так называемой чехословацкой нормализации, который принужден был в начале 70-х гг. покинуть брненский университет и стать настоящим безработным, публиковавшим, тем не менее, свои статьи в Польше, Югославии и на Западе, так как политические органы в Чехословакии наложили запрет на его последующие публикации. Он в течение многих лет, вплоть до настоящего развертывания второго этапа психопоэтики, т. е. до

²² V. Hušek: *Symbol ve filosofii Paula Ricoeura*. Trinitas, Svitavy, Academia Christiana, Roma 2004.

²³ J. Skorupski: *Symbol and Theory. A philosophical Study of Theories of Religion in Social Anthropology*. Cambridge University Press 1976.

начала 60-х гг., писал по поводу нашумевших тогда исследований Бориса Соломоновича Мейлаха (1909-1987) о психологии художественного творчества²⁴; эти исследования позже комплексно вошли в книгу *Процесс творчества и художественное восприятие*.²⁵ О. Сус в статье *Nová koncepce psychologie literárního tvoření a „psychopoetika“*²⁶ пишет, что в рамках преодоления традиционной психологии искусства и литературы следует образовать на стыке психологии, эстетики и литературоведения особую психологию художественного творчества, т. е. специфический синтез структуральных и психологических подходов. Интересно, что все это он вводит в единый контекст с известными синтезами Р. Уэллека и О. Уоррена на грани структурализма и феноменологии и с известной полемикой Р. Ингардена и Р. Уэллека 50-х гг. прошлого века.²⁷

Здесь над нами витает еще одна таинственная книга противоречивых чехословацких исследований 60-х гг. XX века; речь идет о книге, которую мы уже упоминали выше, а именно о не единожды раскритикованной книге известного коммунистического журналиста, критика и идеолога Ладислава Штоллы (1902-1981), которая резко отличается от его пропагандистских текстов.²⁸ В ней критикуются идеологические, т. е., в результате, и философские корни имманентных методов с позиций консервативного марксизма или псевдомарксизма, но и конкретно со знанием проблематики, что представляет собой значительный интерес – тем более, что тогда уже давно наступило время критики имманентных методов со стороны герменевтики, рецептивной эстетики и новой социологии и психологии литературы; т. е. перед ним открывалась дверь для рокового методологического перелома, который потом и осуществился; но именно в Чехословакии, в силу разных политических обстоятельств, это произошло очень поздно, по крайней мере, по сравнению с соседними странами,

²⁴ *Вопросы литературы* VI, 1960, 6, с. 58-79.

²⁵ Б. С. Мейлах: *Процесс творчества и художественное восприятие. Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы*. „Искусство“, Москва 1985.

²⁶ В более широком контексте опубликовано в: О. Sus: *Estetické problémy pod napětím. Meziválečná avantgarda, surrealismus, levice*. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha 1992, с. 48-58.

²⁷ См., между прочим, в книге I. Pospíšil – M. Zelenka: *René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky*. Masarykova univerzita, Brno 1996.

²⁸ L. Štoll: *O tvar a strukturu v slovesném umění. K metodologii a světonázorovým východiskům ruské formální školy a pražského literárního strukturalismu*. Praha 1966, přeprac. 1972.

в чем свою роль, возможно, сыграла и традиционно сильная позиция Пражской школы (о статье Ф. Каутмана о герменевтике уже шла речь).

Книга Л. Штоллы, в создании которой, может быть, принимали участие и другие авторы (до какой степени, сейчас нельзя указать), стала, таким образом, как ни парадоксально, одной из попыток критики литературоведческого имманентизма как особой депсихологизации исследования; т. е. Штолл упрекает формалистов и структуралистов не столько в отсутствии марксизма, сколько в отсутствии психологизма; намек на программную критику В. Шкловским концепции А. А. Потебни тут очевиден.

На фоне исследований по символу выявляется, что многое в чешском искусствоведении и литературоведении 60-х гг. XX века затемнено и затуманено, что там протекали разные идейные струи, которые нельзя рассматривать односторонне и в черно-белом аспекте. Именно упомянутая уже корреспонденция между разными деятелями науки о литературе того времени²⁹ может многое показать и прояснить на фоне их текстов, а зачастую «под ними» или «посреди них». Тема и проблема символа может, следовательно, стать неизбежной лакмусовой бумагой для более глубинного познания концепций, о которых – несмотря на их немного антикварный характер – не следует полностью забывать.

²⁹ См., между прочим: *Slavica Litteraria*, X 15, 2012, supplementum 2, Masarykova univerzita, Brno 2012. *Развитие славистики в зеркале эпистолярного наследия и других личных документов. Vývoj slavistiky v zrcadle epistolárního dědictví a jiných osobních dokumentů*. Eds: Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil. ISSN 1212-1509.

АВТОРЕФЛЕКСИЯ/АВТОАКСИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ОДНА ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

В поисках более мягких подходов к литературному произведению, которые стали типичными для второй половины XX и начала XXI веков, нельзя обойти подспудную линию русской эстетики и литературоведения, развивающуюся на протяжении всего XIX века в противоположность доминантной историко-социологической линии, связанной автохтонно с развитием художественного реализма и, главным образом, с позитивистской мыслью, прежде всего французского и английского происхождения (так называемые революционные демократы, народники, историко-культурная школа, разные академические школы). Развитие русской литературы и в более общем плане эстетической мысли выглядит на поверхности как конфликт или столкновение двух основных линий – социо-философской, с одной стороны, и филологическо-эстетической, с другой. Наиболее влиятельной эстетической доктриной, которая проникает в Россию во второй половине XVIII века, был классицизм, воздействующий, между прочим, на Тредиаковского и Ломоносова. В связи с Просвещением и с его этическими и эстетическими идеями образованности и нравственного усовершенствования был в России – и в зависимости от социальной ситуации российской автократии – живым явлением вплоть до 10-х годов XIX века посредством *Теории изящных наук* (1816) А. Ф. Мерзлякова (1778-1830), профессора риторики и поэзии в Москве, члена Общества любителей искусств, наук и художеств. Тем не менее, можно встретиться и с другими, уже полузабытыми трактатами и эссе, в том числе с *Введением в эстетику* (1815-1817) П. Георгиевского (1791-1852), *Опыт о средствах пленять воображение* (1815) профессора Казанского и Дерптского (Тарту) университетов В. М. Перевощикова (1785-1851) или *Об изящном* (1818) Авксентия Павловича Гавлича (1790-1861). Своеобразным вкладом в русскую теорию искусств XIX века является и лекция П. А. Новикова *О гении* (1818), своего рода особый синтез классицизма и новых романтических веяний; приблизительно ту же самую тенденцию представляет собой и этика А. С. Пушкина (1799-1837), т. е. фрагменты его эстетических рассуждений

на разные темы.³⁰ Эстетика декабристов стала исходным пунктом национально-общественной тенденции в связи с деятельностью литературной группировки Зеленая лампа, членом которой стал и А. С. Пушкин. Декабристская эстетика, как известно, отстаивала необходимость формирования независимой национальной литературы (народность), социальные реформы, отмену автократии, республику или конституционную монархию. Переходным звеном в развитии русской классической эстетики была деятельность Н. И. Надеждина (1804-1856) и Общества Любомудрия (1823-1825) во главе с В. Ф. Одоевским (1804-1869), Д. В. Веневитиновым (1805-1827) и И. В. Киреевским (1806-1856); близко к ним стоял и друг Пушкина П. А. Вяземский (1792-1878). Скорее национально-социальные тенденции представляли славянофилы и западники и, разумеется, так называемая охранительная критика, возглавляемая Ф. В. Булгариным (1789-1859) и Н. И. Гречем (1787-1867) – их роль была, по нашему мнению, в прошлом, т. е. как в XIX так и в XX веках, несправедливо и недифференцированно почти полностью игнорирована русской и позже советской критикой, хотя их след в литературе, именно булгаринский, заметен и и иногда и выразителен (роман, повесть, научная фантастика, сказ).

Конфликт между эстетико-филологическим направлением, к которому с 40-х годов XIX века относились, кроме других, В. Н. Майков (1823-1847), П. В. Анненков (1813-1887), В. П. Боткин (1812-1869) или А. В. Дружинин (1824-1864) – кроме, разумеется, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета у других поэтов – и революционно-демократическими и народническими течениями (их предтеча В. Г. Белинский, 1811-1848; Н. Г. Чернышевский, 1828-1889, Н. А. Добролюбов, 1836-1861; Д. И. Писарев, 1840-1868) углублялся и обострялся. Реалистическое направление соответствовало всеевропейским течениям к социологии литературы в связи с наступлением позитивизма; в польской среде, как известно, они соответствовали литературному позитивизму, в чешской среде литературному, философскому и политическому реализму (Т. Г. Масарик). Отсюда вытекает и явно положительное отношение Масарика к Чернышевскому и русскому реализму и, например, к М. Горькому. Можно по праву утверждать, что национально-социологическое направление в России, именно во второй половине XIX века, преобладало, доминировало за счет эстетико-филологического. Тем не менее, и в глубь XIX века складываются процессы

³⁰ См. *Русские эстетические трактаты первой трети XIX века*. Москва 1974, также и статью З. А. Каменского, в особенности на сс. 64-65.

и явления, которые с разных исходных точек зрения разрабатывают другие, более „мягкие“ подходы к искусству в общем и к художественной литературе в особенности.

Их наиболее выразительным предшественником был, на самом деле, Аполлон Григорьев (1822-1864), который образовал свою концепцию литературной критики на основе ревизии постулатов В. Г. Белинского в своих статьях *О правде и искренности в искусстве* (1856), *Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства* (1858), *Несколько слов о законах и терминах органической критики* (1859) и *Парадоксы органической критики* (1864).

А. Журавлева в вводной статье к известному тому А. Григорьева, восходящему к 1980 г., характеризует А. Григорьева таким образом: „Григорьева определяли как русского несколько запоздалого шеллингианца; последователя Т. Карлейла; эпигона раннего Белинского; славянофила; защитника чистого искусства, бергсонянца до Бергсона... Все это какая-то удивительная смесь. И каждое из этих определений не то чтобы справедливо, но понятно, имеет объяснение.“³¹

Первые следы его особого терминологического аппарата наблюдаются еще в его мемуарной прозе (струя, город-растение). В этом сказывается тяготение и склонности А. Григорьева к природным талантам, которые рождаются из глубины био-социальных, магических структур, семейности, растительности. Его эстетика представляет собой особое промежуточное звено между Шеллингом, Шопенгауэром и Бергсоном. Понятие „жизнь“ у А. Григорьева – в отличие о Н. Чернышевского – предполагает понимание литературы как гармоничного целого. Прекрасное возникает из жизни путем реализации ее гармонии, соединения ее частей без экстремных сдвигов. По Григорьеву нет противоречия между красотой и служением обществу. Искусство носит, прежде всего, охранительный, даже целебный характер. Искусство коренится в глубинах народного бытия, в его био-психологической основе, оно органично: „Искусство по существу своему нравственно, поколику оно жизненно и поколику самую жизнь по-веряет оно идеалом. Здесь нет подчинения искусства нравственности, ибо

³¹ А. Журавлева: *Органическая критика Аполлона Григорьева*, в: А. Григорьев: *Эстетика и критика*. Москва 1980, с. 7. См. наши статьи: *Syntetická metodologie Apollona Grigorjeva*. SPFFBU, D 36-37, 1989-1990, с. 57-66; „*Stydlivost*“ tvorby (Apollon Grigorjev, kreativní autoreflexe a vývojové vplývání ruské literatury). In: *Litteraria Humanitas IX*, Cesta k duši díla – Miroslav Mikulášek – Brno 2001, с. 31-39.

в понятии о подчинении заключается мысль о разорванности отношений между подчиняющим и подчиняющимся: искусство же как жизненное и народное, становясь выражением высших понятий жизни, только исполняет этим свое назначение, достигает только своей правды – и стремление к этой правде, к органическому единству с жизнью в глубочайших корнях сей последней лежит в основе даже и уклонений искусства, порождаемых обыкновенно резким и односторонним противодействием односторонностям, случайностям и фальшивостям жизни.³²

В статье *Несколько слов о законах и терминах органической критики* (1859) он, в качестве оппозиции революционным демократам, приводит следующее: „В известные эпохи, к которым в особенности принадлежит наша, выполнение отрицательных задач чрезвычайно легко, выполнение положительных очень трудно... Всякое требование, всякая, говоря философским языком, потенция или возможность, возникающая по завершении чисто отрицательной работы как логический, неотразимый вывод, сначала является только в виде смутного очерка, который наполнить содержанием предоставляется времени. Из того, что умерла для нас критика чисто эстетическая, то есть взгляд на искусство как на нечто от жизни отрешенное, как на особую, резко отграниченную область, равно как из того, что несостоятельно оказалась и критика односторонне историческая, то есть взгляд на искусство как на нечто жизни подчиненное, дагерротипно-бессмысленно отражающее жизнь во всем ее случайном и неслучайном, – логически вытекало требование иного рода критики. Логически же обозначилось и общее значение этой критики; взгляд на искусство как на синтетическое, цельное, непосредственное, пожакуй, интуитивное разумение жизни в отличие от знания, то есть разумения аналитического, почастного, собирательного, поверяемого данными³³“.

Понятие спокойствия и гармонии образует глубинную основу его эстетической мысли, восходя, таким образом, к эпохе классицизма: „Klid je stav, který je krásě stejně jako moři nejvlastnější, a zkušenost ukazuje, že nejkrásnější jsou lidé klidného, mravního založení.“³⁴ Эта линия эстетической мысли восходит к известной пророческой статье П. А. Вяземского *Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина* (1847) в кон-

³² А. Григорьев: *Эстетика и критика*. Москва 1980, с. 67.

³³ А. Григорьев: *Эстетика и критика*. Москва 1980, с. 117-118.

³⁴ J. J. Winckelmann: *Dějiny umění starověku*. Stati. Praha 1986, с. 135. Цитата относится к его произведению *Geschichte der Kunst des Altertums*, 1764.

цепции лечительного, целебного искусства, возобновляемого внутреннюю гармонию творца: „Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и тревожной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей, он нередко отрезвлялся и успокоивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства, которые из груди его просились на свет божий и облекались в звуки, краски, в глаголы очаровательные и поучительные. Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы, обретали бодрость и свежесть вдохновения, когда принимался за работу, он успокоивался, мужал, перерождался³⁵“.

Мягкие подходы, выражающие соотношение творца и его творчества, его авторефлексию и автоаксиологию, встречаемые у П. А. Вяземского и А. Григорьева, соприкасаются с некоторыми чертами эстетики А. А. Потебни. Следовательно, уже в начале можно сказать, что его методология не возникла только на основе психологических наблюдений, не выростала только на почве его психолингвистических основ, но что она тесным образом связана с истоками одной подспудной, но влиятельной линии русской эстетической мысли, которая, хотя отдаленно, косвенно, скорее как широкий духовный контекст, предвосхищает некоторые подходы эстетики второй половины XX века, называемые постструктурализмом, в том числе некоторые приемы новой герменевтики.

Ядром учения А. Потебни, является, как известно, его концепция слова, его внешней и внутренней формы и содержания. Из значения слова он трансцендирует к художественному произведению, поэтический образ, как он говорит, служит связью между внешней формой и значением: „Внешняя форма обуславливает образ. Образ *применяется*, *примеряется*’ (малорусское *не до вас приміряючи*, например, образную пословицу); поэтому образ может быть назван *примером*, в старину русское *притьча*, потому что она *притьчется*, применяется к чему-либо и этим получает значения. Этим устанавливается граница между внешнею и внутреннею поэтическими формами. Все предшествующее применению при понимании поэтических произведений есть еще внешняя форма. Таким образом, в пословице, *не було снігу, не було сліду*’ ко внешней форме относятся не только звуки и размер, но и ближайшее значение.“³⁶

³⁵ П. А. Вяземский: *Сочинения*. Москва 1982, с. 210-211.

³⁶ А. А. Потебня: *Эстетика и поэтика*, Москва 1976, с. 310.

У А. Потебни в его лекциях, которые были позже изданы под названием *Из записок по теории словесности* (1905), находится глава *Поэт и публика, критика, толпа. Стыдливость творчества*. В своем материале автор приводит следующие рассуждения: „Поэт создает прежде для себя, потом для публики [...] Всякое слово, хотя бы и глупое и пустое, есть акт мысли, завершение ее усилия; но акты мыслей – не одинаковой ценности. И чем важнее для кого деятельность мысли, тем более будет он ценить находку подходящего слова. Так и в сложной поэтической деятельности важность произведения, как завершения периода для самого автора и для других, будет заметна, тем заметнее, чем сильнее и успешнее потути мысли. Поэтому наблюдать это явление следует в жизни настоящих художников...³⁷“. Тягостный внутренний спор между манифестацией поэта как художника и его скрытностью, таинственными глубинами его души Потебня демонстрирует на ряде примеров русского поэтического творчества („Я не хочу, чтоб свет узнал/ Мою таинственную повесть;/ Как я любил, за что страдал,/ Тому судья лишь бог да совесть!“ – Лермонтов; далее исследователь приводит примеры из Тютчева и известный пушкинский: „Зависеть от царя, зависеть от народа –/ не все ли нам равно? Бог с ними! ...Никому/ Ответа не давать, себе лишь самому/ Служить и угождать...“ *Из Пиндемонти*, 1836). Стыдливость творчества связана скорее с осознанием элитности поэта и с тем, что он является прямым выражением философии Потебни: разъединением мысли и языка, в том числе и поэтического. Настоящее искусство есть, прежде всего, авторефлексия души поэта и одновременно его самооценка, автоаксиология его умения преодолевать пропасти между мыслью и языком. В то время как язык обиходной коммуникации и мысль в большой степени разъединены, поэтический язык представляет собой попытку интеллекта преодолеть в форме художественного образа и системы образов, т. е. образности как способности и как сети образов пропасть между мыслью и ее выражением. Переход Потебни от языка к фольклору, к устному народному творчеству и к художественной литературе как таковой выражает его попытку продемонстрировать литературное искусство как своего рода наиболее высокую человеческую деятельность, как манифестацию его доблести, как – наряду с философией – область возвышенного, как наиболее духовную область бытия человека. Это, разумеется, парадоксально связано, хотя не прямым путем,

³⁷ А. А. Потебня: *Эстетика и поэтика*, Москва 1976, с. 313.

с представлениями ранней немецкой романтики, т. е. романтизма, как об этом в свое время писал чешский философ Б. Горына.³⁸

Искусство есть, прежде всего, задача для самого художника, поэта, посредством которой он решает свои внутренние проблемы. Искусство является самым высоким и самым сокровенным проявлением внутренних сил человека, сил самообновления, самозащиты, исцеления и выздоровления и, одновременно, манифестацией спасительной силы для других. Можно с определенной степенью преувеличения сказать, что художественное творчество является коммуникатом, т. е. эстетическим средством межчеловеческой коммуникации в смысле message, т. е. информации, послания, миссии, лишь в смысле побочного продукта. Доминантным смыслом искусства, художественного творчества является авторефлексия и автоаксиология как сообщающиеся сосуды одного духовного акта внутренней сущности: „Серьезный художник, не дилетант и не спекулянт, каждым актом творчества решает важную для себя задачу, и если личность его выдается из ряда, то вместе с тем и задачу важную для современников³⁹“. Для Потебни противоречие между для себя, т. е. для внутренних целей, для удовлетворения потребностей самого автора, и для других разновременны.

В этом маленьком фрагменте текста – по сравнению с его крупными записками – можно найти зародыши тех идей, которые понимали искусство как неутилитарную человеческую деятельность, как настоящее царство свободы – в отличие от методологических подходов, связывающих искусство со служением обществу или конкретным общественным и политическим или другим идеям. В этом смысле был Потебня во второй половине XIX века в России продолжателем тех подспудных идей, которые под давлением социологических подходов теряли силу, ибо все-таки оставались почти невидимыми, но все же влиятельными факторами, живущими будто бы под поверхностью очевидных процессов в литературе, поэтике и эстетике. В этом смысле они продолжают линию мировой эсте-

³⁸ „Krok k domnělé vážnosti byl současně prvním krokem k zániku rané romantiky; 19. století již vítalo romantiky připravené ke konverzi, k obratu, který názorově představoval odvrát – jeden z nejmasovějších, nejméně vysvětlených a přitom nejcharakterističtějších v dějinách moderní kultury, o filosofii nemluvě. Romantičtí žháří se změnili v konzervativní, restaurativní hasiče, kteří v prachu zadusili poslední jiskry kdysi vysokých romantických plamenů.“ (B. Horyna: *Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis*. Vyšehrad, Praha 2005, с. 11).

³⁹ А. А. Потебня: *Эстетика и поэтика*. Москва 1976, с. 321.

тики, идущей от трансцендентальных теорий средневековья, т. е., например, от христианского Ренессанса, сквозь ранний, мягкий немецкий университетский романтизм к русской философии искусства на грани XIX и XX веков. Если эстетика Потебни зачастую считается началом психологического метода в литературоведении, наряду с *Geisteswissenschaft* и с фрейдовским психоанализом – с временной точки зрения она была на самом деле первой, к которой он пришел из сферы лингвистики –, то необходимо добавить, что его аналитизм и практический эмпиризм, т. е. и его фрагментарность и отрывистость его подходов, основанных на сотнях конкретных цитат и примеров из творчества и корреспонденции выдающихся русских авторов, имеет свои трансценденции в сторону глубокой философии искусства, корнящейся до определенной степени в неоплатониках и их отношении к искусству, хотя сам А. А. Потебня, никогда не теряя связь с конкретными текстами конкретных писателей, прежде всего своих современников, будто бы позитивистски примыкает к материалу и очень мало места отводит собственным рассуждениям; скорее посредством цитат позволяет выразиться самому искусству и его глубинным процессам. Высказывания самых авторов, их наблюдения об искусстве их самих являются косвенным доказательством ценности концепции искусства как самовыражения, авторефлексии и самооценки как движущих сил творческого акта. Разумеется, что в этом отношении А. Потебня предвосхищает и анализы мета- и квазиметатекстов, интертекстуальности и всего того, что гораздо позже связывалось с дискурсами постмодернизма. Нет надобности недифференцированно актуализировать его наследие, но скорее искать определенный якорь, узел, связывающий воедино разные, разбросанные фрагменты в теории искусства и в разных подходах к художественному творчеству.

ФЕНОМЕН ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ: ТРАДИЦИИ ЧЕШСКОЙ И СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ И НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Центральная Европа является популярным, иногда даже модным, но всегда внутренне противоречивым понятием и явлением. В географическом смысле это территория части современной Германии – по крайней мере Саксонии и Баварии – части Польши, вся Австрия, Чехия, Моравия, чешская и польская Силезия, части Украины и Румынии; Центральная Европа зачастую отождествляется с территорией Австро-Венгерской монархии. Таким образом, географическая точка зрения постепенно переходит в административно-политическую или же геополитическую. С этим связана как этнолингвистическая, так и культурологическая точка зрения, выраженная в 1915 г. известной книгой сенатора немецкого Рейхстага Ф. Науманна, который в разгар первой мировой войны анализировал этот феномен в смысле немецкого языкового, культурного, идеологического и политического пространства в связи с военной обстановкой Центральных держав, Германии и Австро-Венгрии. Время от времени подчеркивается значение этого понятия в связи с политическими изменениями, в последнее время после падения железного занавеса и коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Геополитическим содержанием этого понятия является иногда образование какой-то переходной зоны между западной и восточной Европой, в более узком смысле (если это понятие, хотя бы частично, отождествляется с Австро-Венгрией) транзитивное пространство между Германией и Россией.

Эта сложность, однако, не снимает проблему самого понятия и его определения, дефиниции. Как видно, это понятие динамическое, подвижное, неустойчивое, изменчивое, но все же можно прийти к выводу, что под ним выгодно подразумевать бывшую территорию Австро-Венгерской Империи как ядро плюс определенная территориальная плазма, содержащая то Саксонию и Баварию, то части сегодняшней западной Украины, то Румынии или Польши. Географическое значение нельзя обойти, но Централь-

ная Европа зачастую отождествляется с культурой и менталитетом, которые воздействуют на процесс культурной коммуникации, на структуру языка, литературы, на духовный мир человека. В этом смысле можно опереться на аналогию, заимствованную из литературной компаративистики, которая касается так называемых зональных комплексов. Между тем как в средневековье Италия была неотъемлемой составной частью Западной Европы, в новое время она – в связи с возрастающей властью габсбургской Австрии – становилась частью Центральной Европы. Понятие Центральная Европа всегда будет исторически изменчивым, подвижным. Можно его определить как совокупность разнородных культурных, политических, языковых, экономических и духовных явлений, переплетающихся на определенной, динамически изменчивой территории с ядром в бывшей Австро-Венгрии, впитывающих в себя и феномены других территорий и культурных зон на диахронной и синхронной осях. Необходимо подчеркнуть, что понятие и его содержание никак не носит извечный характер: оно живет, если оно функционально, если оно подтверждается конкретным материалом или если выявилась воля к его оживлению и возобновлению. Этот волевой момент следует не упускать из виду и сейчас.⁴⁰

Словацкий теоретик литературы Нора Краусова в своей книге *Поэтика в эпоху за и против (Poetika v časoch za a proti, Bratislava 1999)*⁴¹ написала, что характерной чертой американского структурализма является плохое знание структурализма, который в мысли американских структуралистов отождествляется с тем, что почерпнули Леви-Стросс и структуралисты-антропологи из де Соссюра. Кажется, что это не единственный случай, когда о Центральной Европе забыли. Территория Центральной Европы представляет собой сейчас некий вакуум, так как ключевые контакты осуществляются между Россией и Германией, Россией и Западной Европой или Россией и США, как и прежде в годы биполярного мира. И это само по себе достаточная причина, чтобы напомнить об истории

⁴⁰ См. нашу статью: *Средняя Европа как духовное пространство и роль литературоведения*. In: *Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Pere-krestki kul'tury: Srednjaja Jevropa*. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2002, editor: Ivo Pospíšil, с. 7-17.

⁴¹ См. I. Pospíšil: *Otevřenost literární vědy (Nora Krausová: Poetika v časoch za a proti. Literárne informáčné centrum, Bratislava 1999, 226 s. Náklad a cena neuvedeny)*. HOST 2001, č. 2, XIV-XVI.

этих истоков, которые связаны именно с культурным наследием и пространством Центральной Европы.

Хотя зачастую утверждается, что феномен Центральной Европы „родился“ после наполеоновских войн в связи с новым разделением Европы и что его использовали на протяжении всего XIX века, настоящая конъюнктура понятия связана скорее с XX веком. По концепции Д. Дюришина на территории Центральной Европы образовался так называемый центральноевропейский центризм, интегрирующий славянский (точнее западнославянский, частично восточнославянский и южнославянский) компоненты, германский (немецкий или же австрийский), частично и романский (северная Италия, часть Румынии), угрофинский (Венгрия) и еврейский, связанный зачастую с немецкой языковой культурой, иногда также славянской (Чешские земли, Польша, Украина), который выступает как самостоятельный, единый феномен, с другой стороны, однако, распадается на отдельные составные части. Это касается и славянской центрально-европейской общности. По отношению к германским нациям отличаются друг от друга чехи, поляки и словенцы, по отношению к венграм словаки, хорваты и на территории южных славян живущие восточные славяне, по отношению ко всем евреям.

Центральноевропейский территориальный комплекс с изменчивой позицией культурных центров и периферий, также со специфическим переплетением национальностей, культур и религий вынужден признавать культурную разнородность и критиковать узкий этноцентрический принцип. На территории Центральной Европы давным давно бытовал мультикультурализм еще до мультикультурализма.

Итальянский германист Клаудио Магрис в своей книге *Дунай (Danubio)*, написанной накануне большого переворота в конце 80-х годов XX века, подчеркивает именно культурное значение упомянутой реки как связующего звена Средней Европы. Дунай объединял немцев, западных славян, венгров, южных славян, касался и территории восточных славян, связывал территорию Центральной Европы с Балканами и средиземноморской зоной. Однако существенная часть Центральной Европы тяготела не к Дунаю, а к Балтийскому и Северному морям, так что само сердце Европы – Чешские земли – распадается с геологической точки зрения именно на территории Брно на две противоположные части. Ареал Центральной Европы, однако, становился и культурной целью, притягивая разные феномены с востока, севера, юга и запада. Белорусский ученый Францыск Скары-

на (около 1490 – 1551), который родился в Полоцке и скончался, может быть, в Праге, учился в университетах Польши, Италии и Чехии: именно в Праге он издал свой перевод библии под названием „Бивлия руска“. Украинские литераторы из Галиции публиковали свои сборники и отдельные произведения не только в Российской Империи (Киев, Харьков, Полтава), но и в Центральной Европе (Буда, Вена, Краков, Прага). Мультикультурным центром и для славян была Вена: межвоенный интеллектуальный и культурный треугольник Прага – Брно – Вена стал важным и для русских ученых-эмигрантов (Н. Дурново, Р. Якобсон, Н. Трубецкой). Центральная Европа фомировала и словенца Матия Мурко, который был тесно связан и с немецкой культурой, и венского уроженца Рене Уэллека, позже известного американского литературоведа и компаративиста.⁴²

Моравия является типичным примером смешения и интерференции немецкого и славянского элементов: в городе Простейов (Prosnitz) родился философноменолог Эдмунд Гуссерл, в городе Фрейберг (чешский Пржибор) родился Сигмунд Фрейд, в брненском ареале (Хрлице или Туржаны) появился на свет австрийский философ эмпириокритик Эрнст Мах, критикуемый в свое время с материалистических позиций В. И. Лениным, в Брно вблизи Философского факультета на улице Яселска (названной по польскому галицийскому городу Ясло, под которым боролась в годы второй мировой войны артиллерия Чехословацкого военного корпуса как части Советской Армии) жили почти рядом Карел Чапек (лишь один год), будучи гимназистом, и свыше 25 лет австрийский писатель Роберт Музил. В нескольких шагах по направлению к историческому центру города находится здание бывшей немецкой гимназии (теперь это Факультет Музыка Художественной Академии им. Л. Яначека), в котором учился будущий первый чехословацкий президент Т. Г. Масарик (его статуя, созданная в конце 90-х годов XX века, стоит напротив, перед зданием Медицинского факультета Университета им. Масарика, раньше это был немецкий Технический вуз). Недалеко находится бывшее кафе Bellevue, где любил сидеть Милан Кундера (именно около этого места происходит действие некоторых его рассказов из циклов Смешные любви), а позже в годы так называемой нормализации в 70-80-е годы XX века, поэт Ян Скацел.

⁴² См. I. Pospíšil, M. Zelenka: *René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky*. Brno 1996. *Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Sborník studií*. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. *Slavistická společnost Franka Wollmana se sídlem v Brně, Ústav slavistiky FF MU v Brně, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Ljubljana*. Brno 2005.

С другой стороны, среднеевропейский ареал сохранил и отношение к средиземноморскому наследию античной Греции и античного Рима (греко-римская мифология, мифологические архетипы, структура литературных родов и жанров, архетипы интертекстуальности, функционирующей как извечный круговорот сюжетов и мотивов), позже отношение к итальянскому Возрождению. Одновременно Средняя Европа обращается к славянскому и неславянскому Югу (Балканам), на славянский Восток и посредством России открывается Азии. Транзитивный характер Средней Европы сказывается и на ее ориентации на западноевропейские культурные и политические структуры: таким образом, например, чехи обращались к французской и английской философии, литературе и изобразительному искусству, чтобы балансировать доминирующее немецкое воздействие (Т. Г. Масарик в беседах с К. Чапеком подчеркивал, насколько была антинемецкой чешская университетская среда в Праге, но одновременно она не смогла представить себе, чтобы было можно открывать курс истории философии французами и англичанами).

К вопросу о центральноевропейском центризме сказал свое слово и упомянутый Р. Уэллек, беседуя с П. Демцем в конце 80-х годов XX века. Именно в связи с националистическим пониманием территории Центральной Европы (Mitteleuropa) в книге Ф. Науманна (1915) Р. Уэллек отказывается от функциональности этого понятия; он относится скептически к возобновлению Центральной Европы в любом смысле (это было еще до переворота 1989 года), хотя П. Демец уже тогда иронически указывал, как их разговор не может никак выйти из заколдованного кольца, которое очень *mitteleuropäisch*. В ответ на антиславянскую концепцию Ф. Науманна некоторые исследователи избегают понятия *Mitteleuropa*, предпочитая *Zentraleuropa* (английское *Central Europe*).

Феномен Центральной Европы, таким образом, несколько раз отвергнут и повергнут, образовав сложную, взаимно связанную, но и много раз прерванную, гетерогенную сеть, которая перманентно сближается и разъединяется, находя общие черты и, одновременно, резкие отличия и противоречия. Характерная расслоенность территории не раз обнаруживалась в роковые минуты истории Европы – недаром начало обеих войн связано с обстановкой или, точнее говоря, с резким изменением обстановки именно Центральной Европы. Существует ряд культурных феноменов, которые связывают ареал Центральной Европы воедино, например *biedermeier*, или в общем, ощущение истории, отдельных исторических событий

и некоторых пластов менталитета; существуют, однако, и резкие противоречия, в том числе религиозные и позже, с „весны народов“ XIX века, национальные.

Прочность, стабильность и доминанта одного политического, экономического и культурного центра и господствующего языка и литературы привели к распаду Австро-Венгрии: самой благоприятной для ареала Центральной Европы является, напротив, нестабильность, непрочность, изменчивость, гетерогенность или, точнее говоря, определенный баланс между ментальным и культурным моноцентризмом и полицентризмом, мультикультурализмом и автономизмом. С этой точки зрения Центральная Европа является скорее культурным, ментальным, чем политическим целым.

Существование обеих черт ареала Центральной Европы привело и к образованию разных общих и частных концепций Центральной Европы. Если пропустить сложные исторические судьбы этого понятия в XIX веке, можно сразу же начать с нашумевшей когда-то книги Фридриха Науманна, члена Рейхстага: „Mittleuropa ist Kriegsfrucht. Zusammen haben wir im Kriegswirtschaftgefängnis gesessen, zusammen haben wir gekämpft, zusammen wollen wir leben“⁴³. Книга в несколько сот страниц содержит обстоятельный политический, экономический и культурный материал в ряде глав, в том числе *Der gemeinsame Krieg und seine Folge*, *Zur Vorgeschichte Mitteleuropas*, *Konfessionen und Nationalitäten*, *Das mitteleuropäische Wirtschaftsvolk*, *Gemeinsame Kriegswirtschaftsprobleme*, *Zollfragen*.“ Науманн прежде всего отрицает возможность образования Центральной Европы как своего рода федерации; причина этому – национальные противоречия. Необходимо, по его мнению, чтобы одна нация и один язык на этой территории и в едином центральноевропейском, унитарном, централизованном государстве преобладали – а это именно немецкая нация и немецкий язык. Он показывает опыт прошлого, когда „die Deutschen in Österreich haben im Laufe des letzten Jahrhunderts viel verloren.“⁴⁴ Между прочим, к книге Науманна не раз критически возвращались и современные исследователи, подчеркивая, что Mitteleuropa – не Центральная Европа; везде в мире, прежде всего в США, под этим термином подразумевается националистическая концепция Ф. Науманна, которая с общей точки зрения неприемлема. Например, Антон Пелинка в своей статье *Mythos Mitteleuropa* отмечает: „Zentraleuropa ist nicht Mitteleuropa. In der interna-

⁴³ F. Naumann: *Das Mitteleuropa*. Berlin 1915, с. 263.

⁴⁴ F. Naumann: *Das Mitteleuropa*. Berlin 1915, с. 76.

tionalen, insbesondere in der westeuropäischen Debatte wird unter Mitteleuropa das Konzept Friedrich Naumanns verstanden. Diesem Konzept wird, historisch wohl verständlich, eine deutsche Expansionsabsicht unterstellt.⁴⁵ Генри Корд Мейер в своей книге пишет: “That was during the 1980s, with the emergence of a curious kind of *Mitteleuropa* enthusiasm. Here various Polish, Czech, and Hungarian intellectuals – avidly abetted by certain Austrian conservative circles – spoke and wrote of a better mid-European future. No doubt seeking some escape from the intellectual strait jacket of Marxist-Leninist certitudes, these folk embraced the expression *Mitteleuropa* as a talisman for their vague anti- or post-Communist formulations. They seemed evidently quite oblivious to the *real* ideological significance of the term, as developed initially during World War I and subsequently manipulated by the Nazis, as a pattern for specifically German-dominated solutions for mid-European problems. Though no doubt some broad areas of fruitful discussions were opened by these initiatives, there was apparently no sense of the possible perils of jumping out of a Soviet pan into a German fire⁴⁶”.

Результат первой мировой войны не подтвердил концепции Науманна; тем не менее идеи Центральной Европы как особого пространства не переставала бытовать в книгах и статьях исследователей даже после распада единой дунайской монархии на несколько новых независимых государств (королевская Югославия, Чехословакия, возобновление Польши). Появляются новые книги, содержащие концепции средне-европейской федерации с интегрированным хозяйством, транспортом, культурой и политикой, но с автономными составными частями, нынешними независимыми государствами. Эти книги писались на немецком, французском и других языках. Однако начало гитлеровской диктатуры в Германии (1933) уничтожило возможность осуществления этих планов. После второй мировой войны возникли известный биполярный мир, железный занавес и холодная война. Понятие Центральной Европы будто бы исчезло. Не случайно М. Кундера в известной статье, изданной в США и позже в австрийском сборнике Эрхарда Бузека в пору, когда вновь начали думать о Центральной Европе, жаловался, что все изменили Центральной Европе как

⁴⁵ In: P. Gerlich, K. Glass, B. Serloth (Hg.): *Neuland Mitteleuropa. Ideologiedefizite und Identitätskrisen*. Wien-Torun 1995, с. 13.

⁴⁶ *Drang nach Osten. Fortunes of a Slogan-Concept in German-Slavic Relations, 1849-1990*. Peter Lang, Bern – Berlin – Frankfurt am Main – New York – Paris – Wien 1996, с. 137.

(по крайней мере) культурному феномену, все забыли о нем; все заботятся лишь о своем – Запад о Западе, Восток о Востоке.

Именно вторая половина 80-х годов XX века ознаменовала новое начало возобновленного интереса к Центральной Европе, сначала в Австрии, в которой он был поддержан со стороны некоторых аристократических кругов. Думалось, что можно возобновить значение этого понятия как символа бывшего монархического единства, как своего рода преддверия нового единения на более широкой основе. Конец коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе привел к новым концепциям и даже политическим планам. Оказалось, однако, что этот феномен остается неуловимым и нельзя его использовать в любых целях, что он является слишком ломким, мягким, хрупким, неустойчивым и исторически подвижным. Хотя были попытки формирования новых интеграций и некоторые удались, все еще кажется, что это скорее тяготения и тенденции, чем прочное и устойчивое движение к новому единству. Феномен Центральной Европы остается до сих пор скорее культурным и Центральная Европа скорее духовным пространством, к которому примыкают и более отдаленные нации, их культуры и менталитет. Такие тенденции наблюдаются, например, в Украине, еще отчетливее в Беларуси, в которой именно оппозиционно настроенные круги, издающие свои журналы в Минске, Вильне и в Польше, связывают свое будущее с территорией демократической Центральной Европы.

В 20-30-е годы XX века в Веймарской Германии в связи с усиленным интересом к феномену Центральной Европы появились размышления о Центральной Европе как о первом шаге к единой Европе. Центральная Европа представляет своеобразное явление как таковое; с другой стороны, она содержит и общеевропейские признаки, она является их особым перекрестком, мостом, по которому ведут пути с Севера на Юг, с Запада на Восток и обратно. Именно она является до сих пор – в силу сложной истории, расслоенности и разных сосуществующих культурных пластов – лакмусовой бумагой состояния европейской мысли. Центральную Европу, следовательно, нельзя уничтожить, можно этот феномен только функционально использовать. Политические и административные методы функционируют всегда успешно, быстро, действенно, но недолго и неглубоко, экономические более стабильны, но самыми прочными и практически вечными являются психокультурные архетипы, которые образовались на протяжении веков. По этим причинам изучение Центральной Европы и всех

ее аспектов, главным образом языка и литературы как устойчивых, но, одновременно, динамичных и исторически изменчивых структур, неизбежно⁴⁷.

Литературоведы сейчас больше не образуют единое спорящее целое, а представляют изолированные группы разных дискурсов – в мире всяческих союзов и интеграций происходит абсурдная изоляция и образование замкнутых коммуникативных общностей. Это расхождение, дисперсия, рассеивание, разложение, распад являются существенным признаком современного литературоведения и, возможно, не только его. Образующиеся группы, в том числе восточноевропейская, южноевропейская, западноевропейская, скандинавская и т. д., подчеркивают мозаику дезинтеграции. В этом смысле свою интегрирующую роль вновь имеет известное понятие „Mitteleuropa“, Центральная Европа. Это понятие важно не только для политологии, экономических наук, но и для культурологии, лингвистики и литературоведения. Специфика региона исходит, как сказано выше, из существования Австро-Венгерской монархии, но территорией этого государства пространство Центральной Европы не исчерпывается. Известно, что к нему традиционно относятся не только Бавария, Саксония, но и северная Италия: принадлежность к Средней Европе ощущается и в Румынии, Украине и Беларуси. Можно, следовательно, прийти к выводу, что феномен Средней Европы выступает скорее как какое-то духовное качество, чем конкретнополитическое пространство. В межвоенный период, т. е. в 20-30-е годы, частью Средней Европы стала и многочисленная восточнославянская эмиграция – научная, писательская и, в целом, интеллектуальная, которая сильно повлияла на характер научной жизни в этом пространстве. Достаточно лишь вспомнить о Романе Якобсоне, Николае Трубецком, Николае Дурново, Сергии Вилинском, Евгении Ляцком и других. Кроме того, именно в эту пору Средняя Европа стала

⁴⁷ См. E. Hantos: *Das Donauproblem*. Wien 1928. E. Hantos: *Das Geldproblem in Mitteleuropa*. Jena 1925. E. Hantos: *Das mitteleuropäische Agrarproblem und seine Lösung*. Berlin 1931. E. Hantos: *Die Handelspolitik in Mitteleuropa*. Jena 1925. E. Hantos: *Die Kulturpolitik in Mitteleuropa*, Stuttgart 1926. E. Hantos: *L'Europe centrale. Une nouvelle organisation économique*. Paris 1932. E. Hantos: *Mitteleuropäische Eisenbahnpolitik. Zusammenschluß der Eisenbahnsysteme von Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und Jugoslawien*. Wien 1929. E. Hantos: *Mitteleuropäische Kartelle im Dienste des industriellen Zusammenschlusses*. Berlin 1931. E. Hantos: *Mitteleuropäische Wasserstraßenpolitik*. Berlin 1932. M. Hodža: *Federácia v strednej Európe a iné štúdie*. Bratislava 1997. M. Hodža: *Schicksal Donauraum. Erinnerungen. Mit einem Geleitwort von Dr. Otto von Habsburg*. Wien – München – Berlin 1995.

пространством новых веяний, движений, идей и людей: в межвоенной Чехословакии жили известные словенцы (филолог Матия Мурко, архитектор Плечник), русские, украинцы, белорусы, поляки. Это была совершенно новая обстановка для развития литературоведения в целом и славистического в частности.

Предпосылкой для поисков нового литературоведения является существование плоскости, которая, с одной стороны, давала бы достаточно креативных импульсов и, с другой, была прочно связана с традицией. Именно славистика, точнее филологическая славистика, могла бы стать динамическим целым, связывающим воедино весь лингвистический и литературоведческий дискурсы: достаточно хотя бы вспомнить, сколько импульсов общего характера предоставила славистика в межвоенный период лингвистике и литературоведению в целом: многие на шумевшие тогда теории исходили из славянского материала (Ф. Воллман, Р. Якобсон, Р. Уэллек). Ведь известно, что именно материал оказывает существенное влияние на теории и концепции, которые из него исходят, что они взаимно связаны, образуя неразрывное единство. В настоящее время, когда преувеличивается роль германистики, англистики, американистики и романистики, следует об этих фактах говорить как можно чаще и громче: ведь среди славянского материала именно русский был несомненно доминантным. Именно мультикультурная Центральная Европа, соединяющая славянский, германский, угрофинский, частично романский ареал с фоном в тюркской области, обращенная на юг в средиземноморскую сферу, на западе к Германии и Франции, на востоке посредством восточных славян к Азии, является выгодной коммуникативной плоскостью, которая может оживить филологическую тематику и методологию, а также наметить новые пути развития научных дисциплин, которые сейчас, кажется, очутились в тупике.

Именно сфера литературоведения показывает, что Центральная Европа формировалась не только географическими среднеевропейцами, но и представителями восточных славян. Именно связь среднеевропейских университетских и научных традиций, а также восточнославянской традиции общения и научных обществ, общностей, политических и научных кружков сыграла большую роль в процессе возникновения Пражского лингвистического кружка. Оказывается, что именно межвоенная территория Чехословакии была благоприятна для слияния и особого компромисса между технологическими и более мягкими методами, связан-

ными с „Geisteswissenschaft“. Профессор Сергей Вилинский, работавший в Брненском университете с середины 20-х годов, как будто символически соединил традицию филологического метода в рамках медиевистики, особый вид феноменологии (в зимнем семестре 1913 г. он преподавал молодому М. Бахтину в Новороссийском университете в Одессе) историческую поэтику;⁴⁸ работа Романа Якобсона всеобще известна.⁴⁹ Особые методологические сдвиги в сторону исторического компромисса между психологическими и имманентными методами наблюдаются у Рене Уэллека (его учителями были чешский германист, поэт, переводчик и литературовед психологической ориентации Отокар Фишер и англистлингвист, структуралист Вилем Матезиус).

Интересное явление представляют как бы периферийные личности, в том числе первый чешский и моравский историк русской литературы, переводчик Алоис Аугустин Врзал, полонист, русист и украинист-литературовед Мечислав Кргоун и несколько литературоведов, учеников профессора Франка Воллмана, основоположника брненской литературоведческой славистики, методология которого (эидология) связана с Пражским лингвистическим кружком и чешским структурализмом.

Литературная компаративистика представляет собой один из ведущих феноменов центральноевропейского культурного и научного пространства. Необходимо, однако, сказать, что она была коренным образом связана с развитием литературоведческой славистики, будто бы материал славянских литератур способствовал и развитию научной методологии и новых компаративистских приемов. В рамках бывшей Чехословакии образовалось несколько компаративистских групп. Основой была методология французского сравнительного литературоведения позитивистского толка второй половины XIX века, одновременно и традиции русской школы А. Н. Веселовского. Это интересно, так как А. Н. Веселовский стал вдохновляющим стимулом для русского формализма, который, в своем большинстве, исходил из русской литературы, подобно как и чешский структурализм, за исключением в Пражском лингвистическом кружке

⁴⁸ См. I. Pospíšil: *Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge*. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, s. 223-230.

⁴⁹ См.: I. Pospíšil: *Rasanz und Feingefühl: Zum Phänomen Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit*. In: *Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Пепекрестки культуры: Средняя Европа*. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2002, editor: Ivo Pospíšil, с. 265-278.

действующих иностранцев или людей с иностранными корнями (Р. Якобсон, Р. Уэллек), сосредоточивался лишь на чешской литературе. Кроме того, романистический центр, представляемый, например, Прокопом Гашковцем, Вацлавом Черным и Отакаром Левым, которые некоторое время работали и в Университете им. Масарика в Брно, представляли собой скорее позитивистско-интуитивистский круг компаративистов, исходящих из персоналистской точки зрения более, чем из изучения литературной морфологии. В Словакии к теории литературной компаративистики пришли немного позже; только в 60-е годы XX века написал Диониз Дюришин первые статьи и книги об истории и теории литературной компаративистики и позже стал конструировать свои основные тезисы, стремящиеся к выделению компаративистики из русла одного литературоведения, желая образовать скорее новую науку, занимающуюся так называемыми межлитературными связями или же межлитературностью как особым феноменом. Понятно, что речь идет о слиянии нескольких наук и пограничных дисциплин между литературоведением, лингвистикой, культурологией, социологией, политологией и проч. Традиции пражско-брненской литературной компаративистики, связанной с творчеством Франка Воллмана и его сына Славомира Воллмана и их брненских учеников, связаны скорее с компаративистско-генеалогическим (жанрологическим) комплексом.⁵⁰

⁵⁰ См., например, F. Wollman: *Slovesnost Slovanů*. Praha 1928. Нем. издание: Frank Wollman: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. *Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen*. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003. I. Pospíšil, M. Zelenka: *Mitteleuropa als Knotenpunkt der Methodologien. Frank Wollmans Slovesnost Slovanů – Traditionen und Zusammenhänge*. In: Frank Wollman: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. *Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen*. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003, с. 7-30. Aus dem Tschechischen übersetzt von Reinhard Ibler. I. Pospíšil: *Sieben Bemerkungen zu Frank Wollmans Slovesnost Slovanů*. In: Frank Wollman: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. *Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen*. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 200, с. 355-362 (aus dem Tschechischen übersetzt von Reinhard Ibler). D. Ďurišin a kolektiv: *Osobitné medziliterárne spoločenstvá I-VI*. Bratislava 1987-1993. D. Ďurišin: *Čo je svetová literatúra?* Bratislava 1993. F. Wollman: *Duch a celistvosť slovenské*

Новые компаратистские веяния связаны с ее ареальным пониманием в рамках славистики. Внутренние сдвиги филологической славистики и их результаты, кажется, на первый взгляд устремлены по двум основным направлениям. Кроме консервативного видения славистики, которое выступает в редуцированном виде как славянская филология, существуют и более прогрессивные тенденции, связанные с необходимой модернизацией славистики, использующие ее ареальную трансценденцию в сторону социальных наук. Радикальные слависты, опирающиеся, главным образом, на историографию, пытаются подчинить филологическую славистику именно историко-социальным дисциплинам; наш взгляд совсем другой: филологическая славистика должна стать исходным пунктом будущей интеграции. Эта концепция исходит из убеждения, что язык и тексты имеют ключевое значение для ареальных исследований как таковых. Хотя до сих пор существуют кафедры и институты, отдающие предпочтение традиционной структуре и ориентации славистики, что, между прочим, естественно и понятно, более прогрессивные, внутренне изменяющиеся институты стремятся претотвратить угрожающую ликвидацию славистики путем ее интеграции как доминантного элемента в более комплексных структурах. Судьба славистики в некоторых университетах Запада (Германия), а также миноритетных славянских филологий в Великобритании и скандинавских странах свидетельствует о необходимости таких шагов.

Необходимость реформировать традиционную филологическую славистику сигнализирована посредством образования славянско-неславянских или же славянско-евроамериканских комплексов, естественно, именно в связи с исследованием славяно-германо-венгро-румынского ареала Центральной Европы или славяно-неславянского ареала Восточной Европы. Создание специальных отделений российских и венгро-славян-

slovesnosti. Praha 1948. S. Wollman: *Česká škola literární komparistiky*. Praha 1989. S. Wollman: *Porovnávací metoda v literární vědě*. Bratislava 1988. I. Dorovský: *Balkán a Mediterán. Literárněhistorické a teoretické studie*. Brno 1997. I. Dorovský: *Balkánské meziliterární společenství*. Brno 1993. I. Dorovský: *Slovanské meziliterární shody a rozdíly*. Brno 2004. См.: I. Pospíšil: *Hodnoty a rovnost v literatuře. Dvě knihy a jejich inspirativní hodnota. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, sv. 2, Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky prezentované na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005*. K vydání připravili Pavel Boček, Ladislav Hladký, Pavel Krejčí, Petr Stehlík a Václav Štěpánek. Red.: Václav Štěpánek. Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV ČR, Matice moravská, Brno 2006, с. 757-767. См. далее: E. Kasperski: *Przysłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. Zagadnienia rodzajów literackich*, tom XLII, zeszyt 1-2 (83-84), Łódź 1999, с. 181-196.

ских исследований, к чему стремится брненский Институт славистики и специальные славистические организации, является, может быть, перспективным шагом в сторону необходимых трансценденций славистики.

Концепция эмигрантологии, выдвинутая Луцяном Суханком на XII конгрессе славистов в Кракове в 1998 г., стала одним из исходных пунктов, ведущих к более широкой концепции россиеведения в рамках Факультета Международных и Политических Исследований. Краковская концепция россиеведения исходит из традиции польского философско-политологического взгляда на Россию, опираясь и на эмигрантологию Л. Суханка. Названия некоторых публикаций кафедры свидетельствуют об актуальности этой специальности.⁵¹ Краковская концепция россиеведения вдохновляет современную славистику по нескольким причинам: для проектов, изучающих, например, жанровые типологии, она имеет огромное значение как дисциплина, рассматривающая пространственно-временные трансформации культуры; кроме того, сама концепция имеет и дидактико-прагматические функции. Брненская концепция ареальных исследований отличается от краковского россиеведения не только широкой охвата, но и некоторыми другими предпочитаемыми подходами. Методологическим базисом исследования (цель которого – обогащать филологические науки и обучение языков и литератур), является проект интегрированной жанровой типологии, исходящий из брненской концепции компаративистики и генологии (жанрологии), легших в основу и ареальных исследований. Их началом являются не столько американские разработки в период холодной войны, сколько та широкая ареальная филология, которая реализовалась в концепции Й. Добровского и в чешско-словацкой славистической школе XIX века (Ян Коллар, П. Й. Шафарик, В. Ганка, К. Я. Эрбен, Ф. Л. Челаковский и др.). Первоначальное преобладание ареальной филологии было постепенно заменено замкнутой концепцией

⁵¹ *Wprowadzenie do studiów nad Rosją*. Podręcznik Akademicki. Pod redakcją Lucjana Suchanka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. *Интеллигенция – Традиции и новое время*. Pod redakcją Hanny Kowalskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. Joachim Diec: *Cywilizacje bez okien: teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. Agnieszka Malska-Lustig: *Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. Grzegorz Górny: *Demon południa*. Warszawa 2007. Andrzej Dudek: *Wizja kultury w twórczości Władysława Iwanowa*. *Образ культуры в творчестве Вячеслава Иванова*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

чистой филологии, а позже обособлением лингвистики и литературоведения. К этому времени образовалась диахронная концепция языка и литературы, находящаяся под воздействием зачастую механически применяемого эволюционизма. Современная брненская концепция ареальных исследований исходит из постепенного обновления внутренне дифференцированного единства филологии, т. е. лингвистики и литературоведения, с определенным сдвигом в сторону других гуманитарных и, главным образом, социальных наук. Кроме того, возобновляется значение пространственности филологии, что раньше регулярно учитывалось как у Й. Добровского в его основополагающем славистическом произведении *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*, так и в стержневом томе П. Й. Шафарика *Die Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten*.

Упомянутое нами возобновление пространственности, зональности, ареального размера филологии связано, однако, не больше с синкретизмом, основанном на близости или даже слиянии языка и его текстовых „продуктов“ (теория литературы Й. Юнгманна называется *Slovesnost*, что связано с литературой или металитературой, т. е. теорией, и, одновременно, с устным народным творчеством – фольклором), а с синтезом уже детально исследованных явлений. Необходимо учитывать возникновение и развитие новых специальных как лингвистических, так и литературоведческих дисциплин (в том числе, этнолингвистики, психоллингвистики, социоллингвистики, генеративной лингвистики, когнитивной лингвистики, компаративистики, генологии/жанрологии, рецепционного литературоведения, эмпирического литературоведения, нарратологии, сюжетологии и т. д.). Все вышеперечисленное способствует скорее дезинтеграции филологии, чем ее интеграции, и все это необходимо преодолевать путем перманентного интегрирования.

Новые современные веяния, связанные с синтезом филологических и социальных наук, свидетельствуют о возникновении новой социологии литературы. Это проявляется, с одной стороны, в книгах, методологически исходящих из социокультурологии⁵², а с другой, попытками оживить социологию литературы. Социология по этой концепции становится не только иллюстрацией общей истории, а, напротив, активным

⁵² См. A. Antoňák: *Sociokultúrna interpretácia románov M. Šolochova (Tichý Don, Rozoraná celina)*. Prešov 1998.

элементом историко-общественного процесса.⁵³ Кроме того, переиздания пособий по социологии литературы показывают, что некоторые идеи и концепции были несправедливо забыты или очутились на заднем плане литературоведения.⁵⁴

⁵³ См. А. Haman: *Historie literatury a sociologie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity*, V 2, 2000, именно с. 11-12.

⁵⁴ См. К. Krejčí: *Sociologie literatury*. Eds: Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka. Vychází ve spolupráci Ústavu slavistiky a Literárněvědné společnosti AV ČR. Masarykova univerzita, Brno 2001. Úvodní studie: I. Pospíšil – M. Zelenka: *Souvislosti sociologického přístupu k literatuře a komparatistické impulsy Karla Krejčího v meziválečném období: na pomezí sociologismu a strukturální estetiky*, с. 5-32. См. также: I. Pospíšil: *Nové debaty o sociologii. Opera Slavica* 2001, č. 3, с. 43-46.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДА: СЕРГИЙ ВИЛИНСКИЙ

Центральная Европа в начале прошлого столетия, еще в 20-е и 30-е гг., была в определенном смысле перекрестком идейных течений, включая и сферу литературоведения. При этом здесь сталкивались, соперничали между собой и влияли друг на друга как традиционный позитивизм, так и направления, исходящие из филологического метода, немецкая наука о духе (*Geisteswissenschaft*) и психологические течения и технологические подходы: формизм, формализм, а позднее – структурализм. Выясняется, что противоречия между технологическими и психологическими методами⁵⁵, в том числе интуитивизмом, а также между русской формальной школой, феноменологией и структурализмом не были столь острыми, как некогда утверждалось; что в творчестве отдельных авторов эти подходы переплетались и формировали комплементарное целое. Это доказывает, например, и внутреннее развитие русской формальной школы и Пражского лингвистического кружка. Относительно автономный ярус в литературоведческом исследовании в межвоенной Чехословакии составляли классические филологические подходы, когда-то связанные с религиозной основой. В ареале Центральной Европы пересекались формистские и формалистские методы, структурализм, феноменология и психологизм.

В эту относительно сложную ситуацию, когда в межвоенной Чехословакии значительную роль играли и направления с религиозной ориентацией (католицизм), вступает в первой половине 20-х гг. Сергей Вилинский (1876-1950). В его личности складывается система восточно-западного и северо-южного движения мысли, т.е. то, что множество явлений, которые ныне воспринимаются как связанность русско-французско-американская, зародилось в центрально-европейском культурном пространстве. Сергей Вилинский, экстраординарный и позже ординарный профессор

⁵⁵ См. нашу статью *Literaturwissenschaftliche Technologie, Psychologie und Rezeptionsästhetik: die tschechische und slowakische Situation*. In: *Wissenschaft und Systemveränderung. Rezeptionsforschung in Ost und West – eine konvergente Entwicklung?* Herausgegeben von Wolfgang Adam, Holger Dainat, Gunter Schandera. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003, s. 245-257.

и проректор Новороссийского университета в Одессе, русский медиевист, в течение недолгого времени (в 1913 г.) был преподавателем Михаила Бахтина, который сначала поступил в одесский Новороссийский университет и лишь потом перевелся в Санкт-Петербург. Михаил Бахтин со своей концепцией художественного произведения как эстетического объекта и, конечно, с разработкой понятий «карнавализация», «хронотоп», «диалог» и «полифонический роман» был близок феноменологии (можно также отметить его связь с неоидализмом – Сёрен Кьеркегор, Фридрих Ницше). Война и революция в России привели к тому, что деятельность Сергея Вилинского в качестве медиевиста была прервана: через Болгарию он отправляется в Брно по приглашению чешских богемистов, где становится так называемым профессором по договору. Материалы, касающиеся деятельности Сергея Вилинского в университете им. Масарика в Брно, находятся в архивах этого университета.

Из автобиографии С. Вилинского, написанной им по-чешски и датированной 24-м марта 1935 г. (в связи с заявлением о сдаче строгих докторских экзаменов, ибо его титул доктора русской словесности, присвоенный ему в Одессе в 1914 г., по законам того времени не мог быть использован у нас), мы узнаем, что он родился в Кишиневе (Бессарабии, Молдавии, тогда части Российской империи, на момент написания автобиографии – части Румынского королевства) 3-го сентября 1876 г. Он учился в 1-й классической гимназии в Кишиневе, которую закончил в 1895 г. (с золотой медалью, т.е. с отличием). С августа 1895 по 19-е января 1896 г. он был студентом санкт-петербургского историко-филологического факультета, откуда затем ушел по собственному желанию. Осенью 1896 г. он поступил на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе (во время обучения – в 1897 и 1899 году – он получил особую премию за две свои работы). После сдачи выпускных экзаменов в 1900 г. по рекомендации проф. В. Истрина и проф. П. Лаврова он был избран профессорским стипендиатом, т.е. кандидатом университетской профессуры по русскому языку и литературе. К получению ученой степени доктора наук Вилинский готовился в 1902-1903 гг. в московских и петербургских архивах и на семинарах проф. М. Соколова в Москве и И. Шляпкина в Санкт-Петербурге. После усвоения доцентского звания в 1904 г., 8-го мая того же года, он вошел в преподавательский состав Одесского университета в качестве приват-доцента. С этого момента, по его словам, он по несколько раз в год, вплоть

до 1917 г., работал в архивах в России и за рубежом (Санкт-Петербург, Москва, Киев, Казань, Сергиев Посад, Афон, София) и занимался изучением древнерусских рукописей. В марте 1907 г. Вилинский защитил свою диссертацию *Послание старца Артемия (XVI века)* и получил титул магистра русской словесности (литературы). В 1909 г. он был избран экстраординарным профессором русской литературы одновременно в двух университетах: в Одессе и в Казани – и его выбор был сделан, наконец, в пользу Одессы. В сентябре 1912 г. он стал проректором Одесского университета; эту должность он занимал вплоть до марта 1917 г. В феврале 1914 г. Вилинский защитил докторскую диссертацию *Житие св. Василия Нового* по русской литературе и стал доктором русской словесности (литературы), а в марте 1914 г. был именован профессором русской литературы в Одесском университете. Эту функцию Вилинский выполнял до 7-го февраля 1920 г., когда он эмигрировал. Параллельно он работал в нескольких средних и высших средних школах (так называемые Одесские высшие женские курсы, Сергиевская артиллерийская школа, мужская и женская гимназии). С 1910 по 1920 гг. он был председателем Историко-филологического общества при Одесском университете, а также членом ряда других научных сообществ и собраний единомышленников (Русское географическое общество, Одесское общество истории и древностей, Одесский кружок по изучению искусства и др.).

После отъезда из Одессы (по словам Вилинского, когда он покинул Россию в 1920 г., в порту у него украли все личные вещи, в том числе и книги, так что и свои собственные публикации ему пришлось впоследствии покупать), в апреле 1920 г., он получил место учителя русского языка в гимназии в Плевне, а в 1921 г. был переведен в качестве учителя латинского языка в 1-ю женскую гимназию в Софии (одновременно с этим он работал и в софийской русской гимназии). После 1922, когда в Болгарии, как пишет Вилинский, началось преследование русских эмигрантов, его перевели в гимназию в Пловдиве, однако от этой должности он отказался и стал безработным. В ноябре 1922 г. он получил место счетовода в Болгарском банке. Тем временем – летом 1921 г. – проф. Вацлав Вондрак пригласил его читать лекции по русской литературе в недавно основанном (1919) университете им. Масарика. Уже в ноябре 1921 г. в этом университете Вилинского избрали профессором по договору, а в апреле 1923 г. он был им назначен. Кроме профессорских обязанностей в университете им. Масарика в Брно, он преподавал русскую литературу в рус-

ском педагогическом университете в Праге вплоть до 1927 г., когда этот университет был расформирован.

К заявлению о сдаче докторских экзаменов (также от 24-го марта 1935) в качестве диссертации Вилинский прилагает свою книгу о Петко Тодорове (1933, см. ниже); основным предметом экзаменов он выбирает славянскую филологию, а второстепенным – историю современных литератур. В отзыве на заявление, который подписал проф. Франк Воллман, среди прочего говорится, что «профессор Сергей Вилинский представил диссертацию *Petko Todorov (Život a dílo), Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, 1933*. Поскольку он выполнил все условия, необходимые для допуска к экзаменам на степень доктора, его диссертация была передана референтам – проф. А. Новаку и проф. Франку Воллману. Они оценили ее как отличную, т.к. она исключительным образом соответствует требованиям, предъявляемым к докторской диссертации». Указав основные сведения из резюме, Ф. Воллман подает прошение о том, чтобы для Вилинского, «с учетом всей его деятельности, была проведена нострификация (согласно постановлению Министерства образования и народного просвещения от 6. 1850, № 4513/153) и, по предложению комиссии, отменены оба строгих экзамена, а также чтобы степень доктора была присуждена ему на основании представленной и одобренной диссертации». Арне Новак присоединяется к этим словам, добавляя, что, «когда профессорский состав включил работы проф. Вилинского в труды своего факультета, этим он признал их научную ценность, превышающую ту меру, которая предполагается у диссертационных работ».

Научной сферой деятельности Сергея Вилинского в России была древнерусская литература. Его работы, в особенности *Сказания о создании храма св. Софии цареградской* (Санкт-Петербург 1903), являются примером филологического метода: сопоставление рукописных редакций, их публикация, определение авторства и происхождения. Например, в упомянутой книге речь идет о продолжении исследования, которое Вилинский начал в 1900 г. и опубликовал в работе *Византийско-славянские сказания о создании храма св. Софии цареградской* (Одесса 1900), а также о реакции на две статьи Ф. Преджера, опубликованные в „*Vyz. Zeitschrift*“ (X, 1901) и в Лейпциге (1901). Эмиграция в Болгарию, где Вилинскому пришлось трудиться не только на университетском поприще, заставила его прервать свою работу медиевиста. За границей – в Болгарии и в Чехословакии – он вынужден был писать скорее о современных литературах

и включиться в жизнь эмигрантской общины. Тем не менее, даже в межвоенной Чехословакии интерес Вилинского к медиевистике не угасает полностью. В некотором смысле ему навстречу пошел журнал *Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje*, выпускающийся в Оломоуце, который напечатал несколько его научно-популярных статей. В Брно Вилинский возвращался к медиевистике еще в нескольких маргиналиях. Кроме того, в своих исследованиях, посвященных новейшей литературе, он пытался найти древнерусские архетипы. Например, в написанной по-чешски работе *Národní prvky v tvorbě I. S. Turgeněva* он показывает, что в своем творчестве Тургенев отражал магию. В рассказе *Живые мощи (Živé ostatky)* Лукерию снятся сны, которые Вилинский интерпретирует сквозь призму фольклора и древнерусской литературы (легенды Пролога) и ссылается на свою статью *Opera superrogatoria* и на одесскую публикацию о Василии Новом. В чешском исследовании из сборника брненского романиста П. М. Гашковца *K otázce francouzsko-bulharských literárních styků* Вилинский присоединился к компаративистским усилиям чешского литературоведения того времени, а в особенности брненских компаративистов с ведущей личностью Франка Воллмана, автора книги *Slovesnost Slovanů* и важного труда, который вышел в 1936 г. – *K metodologii srovnávací slovesnosti slovanské*. В статье о французско-болгарских связях Сергей Вилинский полемизирует с некоторыми взглядами из книги Николая Дончева *Influences étrangères dans la littérature bulgare* (София 1934). Автора он упрекает в том, что он слишком сосредоточен на сравнении отдельных писателей и подчиняется механистической «влияниелогии». Прежде всего Вилинский рассматривает влияние Альфреда де Виньи на Петко Тодорова, последним из которых он систематически занимался. Не отрицая очевидного воздействия французского автора, чьи произведения Тодоров читал, учась в средней школе во Франции, Вилинский отказывается от механистического переноса влияния и демонстрирует, как Петко Тодоров по-новому разрабатывал французскую основу и использовал ее в иных ситуациях.

Пребывание в другой стране, которая в рамках изучения русской литературы делала акцент скорее на ее новейшей стадии развития, заставило Сергея Вилинского изменить не только тему своей научной работы, но и ее методологию. Отсюда две его книги: о болгарском и о русском писателях классического реалистического периода (см. далее). Надо всем этим возвышается эстетика и религиозная надстройка, заданная в какой-то степени уже самим характером предмета изучения. В этом Вилинский бли-

зок автору первой чешской истории русской литературы – А. Г. Стину (настоящее имя – Алоис Августин Врзал, 1864-1930), переводчику Н. С. Лескова и других русских авторов на чешский язык.

Кроме интересных с точки зрения материала, написанных по-русски воспоминаний о трех годах, проведенных в Болгарии, Сергей Вилинский издал в Брно две книги на чешском. Первая из них тематически возвращается к его болгарскому источнику вдохновения, вторая повествует о классике русской литературы.

Книга о Петко Тодорове (1879-1916) была написана, в том числе, благодаря возможности побывать в 1930 и в 1931 гг. на стажировке в Болгарии, содействие чему оказали министерство образования и просвещения и Славянский институт в Праге. Речь идет о дескриптивном, литературно-историческом труде, в котором Вилинский снова обращается к филологическому методу, в особенности в главе *Zuláštnosti tvorby P. Todorova* (язык, словарь, так называемая художественная сторона языка, средства выразительности, символика, национальный характер и др.). Исследованию о П. Тодорове, которое Вилинский завещал профессору университета им. Масарика в Брно Вацлаву Вондраку (1859-1925) и в котором с благодарностью вспоминает и тогдашнего декана Станислава Соучека (1870-1935), предшествует книга о Салтыкова-Щедрине (1826-1889), которая еще более показательна с точки зрения избранного метода. Книга, к сожалению, является неудачным чешским переводом с русского языка.

Вилинский здесь применяет как научную биографию (*Rysy osobnosti M. J. Saltykova*), так и литературную социологию (*M. Saltykov a ruská skutečnost jeho doby*), что приводит к мотивистическому изучению общечеловеческих элементов и к поэтике Салтыкова, включая место, занимаемое этим автором в русской литературе (внутренняя компаративистика). Из этого, однако, не следует делать вывод, что метод Вилинского эклектичен: скорее, перед нами предстает естественным образом согласованный комплекс приемов, с которыми Вилинский сталкивался в России своего времени и которыми обычно пользовался; позитивистские пассажи об общественной обстановке и остальных тэновских факторах (*race, moment, milieu*) здесь уравновешены морфологическим исследованием, известным нам по раннему Александру Веселовскому и по его немецким предшественникам (*Stoffgeschichte*).

Хотя в межвоенной Чехословакии С. Вилинский и вынужден был перейти к новой теме и новому методу, его медиевистическая подготовка

все-таки проявляется и здесь: от филологического метода он постепенно переходит к поэтологии, изучает поэтику языка Салтыкова-Щедрина, его отношение к фольклору и древнерусской литературе. В этом он понемногу становится предшественником литературоведческой мифологии, теории архетипов и мифопоэтики, интертекстуальности (понимаемой, правда, скорее в позитивистском ключе) и поэтологической связи, пусть и только в зачаточном, ограниченном позитивизмом контексте.

В отличие от социологических критиков, или русских радикальных позитивистов – от так называемых революционных демократов – до народников и психологов литературы, следующих традициям А. А. Потебни, – Вилинский идет скорее по линии А. Веселовского: т.е. по линии интеграции компаративистики, исторической поэтики и социального фона, называемого подобным образом ориентированными английскими исследователями «social background». То, что Вилинский выбрал автора столь непростого, сложного для понимания и трудно вводимого именно в чешскую и центрально-европейскую среду, свидетельствует о его намерении познакомить эту среду с тем, чего ей недоставало, что было для нее экзотическим и что не находило здесь ни одной явной опоры в национальной традиции. Так Вилинский примкнул к тем литературоведам, которые в чешской среде разрабатывали скорее теорию фазовых переходов, нежели сближение русского и европейского.

Впрочем, брненская литературоведческая русистика исходила из этого и позднее: а именно в том, что Вилинский указывал на русскую специфику, а не только на то, что связывало русскую традицию с чешской и что в России было европейским, – и этим она несколько отличалась от своей пражской сестры – русистики, ориентированной на политические и общественные аспекты русской литературы и на то, что объединяло русскую литературу с европейскими, что вдохновляло ее или чем вдохновляла она: на модернизм и авангард. Это порождало у брненских русистов интерес к подходам и явлениям, которые когда-то не относились к мейнстриму: к литературным направлениям и жанрам, специфическому пониманию русского модернизма, авангарда, романа у Лескова и т.д. Именно в Брно появились две единственные чешские книги, посвященные Салтыкову-Щедрину: первая вышла из-под пера Сергея Вилинского, вторая принадлежит преждевременно трагически скончавшейся Власте Влашиновой (1925-1977) – *Satira okřídlená fantazií*.

Литература

- Mandát J.: *Потерянные письма русских писателей*. SPFFBU, D 17-18, 1971, 247-248.
- Pospíšil I. – Zelenka, M.: *René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky*. Brno 1996.
- Pospíšil I.: Alois Augustin Vrzal: *A Catholic Vision of Slavonic Literatures*. „Slovak Review“ 1992, 2, 166-171.
- Pospíšil I.: Alois Augustin Vrzal: *Koncepce a dokumenty. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity*, D 40, 1993, 53-62.
- Pospíšil I.: *Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij*. „Slavia Occidentalis“, t. 57, Poznaň 2000, s. 219-233.
- Pospíšil I.: *O strukturalismu, Československu a Americe. Rozhovor s T. G. Winnerem*. TVAR 1996, 4, s. 9.
- Pospíšil I.: *Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge*. „Wiener Slavistisches Jahrbuch“, Bd. 42, 1996, s. 223-230.
- Pospíšil I.: *Srdce literatury. Alois Augustin Vrzal, 1864-1930*. Brno 1993.
- Sus O.: *Geneze sémantiky hudby a básnictví v moderní české estetice*. K vydání připravili Ladislav Soldán a Dušan Jeřábek, pův. studie Rudolf Pečman. Masarykova univerzita, Brno 1992.
- Vilinskij S.: *Mélanges P. M. Haškovec*. Brno 1936, s. 360-366.
- Vilinskij S.: *Národní prvky v tvorbě I. S. Turgeněva*. Sborník družiny literární a umělecké k padesátým narozeninám p. Emanuela Masáka, v Olomouci MCM-XXXIII, s. 119-127.
- Vilinskij S.: *O literární činnosti M. J. Saltykova-Ščedrina*. Masarykova universita, Brno 1928.
- Vilinskij S.: *Petko Jur. Todorov. Život a dílo*. Masarykova universita, Brno 1933.
- Vilinskij S.: *Письма русских писателей чешскому переводчику*. Из архива Авг. Врзала. Центральная Европа, Praha 1930, 11, 650-657.
- Vilinskij S.: *Послание старца Артемия XVI века*. Одесса 1906.
- Vilinskij S.: *Сказание черноризца Храбра о письменех славянских*. Одесса 1901.
- Vilinskij S.: *В Болкарии в 1920-1923 гг. (Из эмигрантских переживаний)*. Jubilejní sborník Svazu ruských studentů v Brně, 1932.

Vilinskij S.: *Византийско-славянские сказания о создании храма св. Софии цареградской*. Одесса 1900.

Vilinskij S.: *Житие св. Василия Нового в русской литературе*. Одесса 1913.

Vilinskij V. : *Dílo P. Augustina Vrzala*. „Archa“, roč. XVII, Olomouc 1929, sv. 3, 229-238.

Vlašínová V.: *Satira okřídlená fantazií*. Lidové nakladatelství, Praha 1975.

Vrzal A.: *Alexandr Sergejevič Puškin. Jeho život a literární činnost*. „Hlídka“ 1899.

Vrzal A.: *Historie literatury ruské XIX. století dle Al. M. Skabičevského a jiných literárních historikův i kritikův upravil A. G. Stín*. Šašek a Frgal, Velké Meziříčí 1891-1897, 952 pp.

Vrzal A.: *Nábožensko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském*. „Hlídka“ 1912.

Vrzal A.: *Přehledné dějiny nové literatury ruské*. V Brně 1926.

Wellek R.: *The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School*. Michigan Slavic Contributions. General editor Ladislav Matejka. Ann Arbor 1969.

В статье были использованы результаты уже опубликованных наших работ о Сергии Вилинском, в частности, *Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge*. „Wiener Slavistisches Jahrbuch“, Bd. 42, 1996, s. 223-230 и *Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij*. „Slavia Occidentalis“, t. 57, Poznań 2000, s. 219-233.

ИСТОРИЯ БРНЕНСКОЙ СЛАВИСТИКИ В ПЕРЕПИСКЕ И ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ(ИЗБРАННЫЕ ЭПИЗОДЫ)

В восприятии разных народов, живущих и не живущих в пределах Земель Богемской короны как части Австро-Венгерской империи, проявлялись различия: в Моравии, например, это было, в целом, лучшее сосуществование с немцами; но с середины XIX-го века усиливалось и славофильское течение, в особенности русофильское, которое в начале XX-го века приобрело формы так называемых русских кружков; однако больше, нежели политики, деятельность этих объединений касалась культуры и разных видов искусства, в особенности музыки и литературы. Не случайно, впрочем, именно в Брно в работе Русского кружка так активно принимал участие Леош Яначек, в чьей музыке ярко проявился русский элемент. Моравия и Силезия как восточная часть исторических земель были, вообще говоря, ближе к славянским культурам – как к полякам, так и к восточным славянам. Отношение к славянам и культурному превалированию, тем не менее, однозначно определял чешский, а конкретно – пражский центр: это также касалось издательской политики, выбора текстов и т.п. Моравские слависты, т.е. те, что становились посредниками в связях со славянскими культурами – если только они не работали в пражском центре (Вилем Мрштик), – оказывались во всех смыслах, в том числе в издательском, на периферии истории. Корреспонденция одного из объектов данной работы, Алоиса Августина Врзала, подтверждает буквально нищенское положение по отношению ко всемогущим пражским издателям и культурным корифеям: пренебрежительное отношение к его деятельности, кстати, проявляется в чешском литературоведении вплоть до сегодняшнего дня. Тем не менее, с точки зрения культуры Моравия соблюдала значительную автономию и ограничение в публикациях. Последние исходили, прежде всего, из католической ориентации Моравии, из моравского консерватизма и преобладающих этических позиций. Эти черты, однако, нельзя неограниченно обобщать –

и все же это были условия, ко-торые формировали моравскую непрофессиональную и научную славистику¹ (Pospíšil, 2011, 2010).

В этом смысле специфической была и моравская рецепция славянских литератур, которая позднее, с того момента, как столицей страны стал город Брно, была характерна и для брненской славистики: неуниверситетской, а с 1919 г. – и университетской. Источником изучения этого развития является корреспонденция и прочие личные документы, сосредоточенные в Моравском областном архиве, в Моравской областной библиотеке и в Архиве Университета им. Масарика.

Не считая личности брненского наборщика, переводчика и автора динамичных языковых учебников Франтишека Вымазала (1841-1917), который был также составителем антологии *Slovanská poezije* (Brno 1874, Vymazal, 1874) и о котором мы сообщали как в ряде материалов, так и в рамках Болдинских чтений (Pospíšil, 2005, 2006, 2007), именно в Моравском областном архиве находится наследие (включая корреспонденцию) монаха-бенедиктинца из Райграда, а позднее – католического священника, моравского слависта-дилетанта, историка литературы и переводчика, автора первой чешской компилятивной истории русской литературы, – Алоиса Августина Врзала (1864-1930), которому посвящено несколько написанных нами в прошлом работ (Pospíšil, 1992, 1993, 2000, 2001)².

Это личные документы, свидетельства, а также книги, записки, отзывы и т.п. По рекомендации своего преподавателя в средней школе, Франтишека Билого, он вступил в райградский монастырь, бывший тогда важным центром католических культурных событий; 8-го сентября 1884 г. он принял здесь имя Августин. После годового новициата Врзал изучал в Брно теологию, последующие три года – частным образом. В аббаты он был посвящен в 1889 г. Впоследствии Врзал служил лектором по истории церкви и права в Райграде, в 1893 г. стал кооператором в Домашове, а затем – приходским священником в Сыровицах; до 1929 г. он служил в Островачицах. После того, как разгорелась Первая мировая война, А. А. Врзал оказался под надзором австрийских органов на основании доноса, т. к. ему приходили русские книги и журналы. По свидетельству патера Вацлава Покорного, посещения жандармами сыровицкого прихода и надзор гейтманства в Густопече довели боязливого Врзала до того, что он совершенно перестал

¹ О специфическом характере моравской славистики говорится на примере различных материалов в некоторых наших исследованиях, см. ссылки в скобках.

² Там также указана остальная литература по этому предмету.

заниматься переводами с русского языка и начал изучать южнославянскую письменность; В. Покорный также полагает, что тогда же были уничтожены или тщательно спрятаны документы большой исторической ценности, например, переписка с Максимом Горьким. Из документов сохранились лишь фрагменты, которые по большей части были опубликованы. В Областном архиве в Брно хранится также дневник Врзала, в котором можно обнаружить не только его биографию, но также его продвижение по службе и приходы, где он трудился. Но есть здесь и то, что вызывает наш наибольший интерес, а именно – начало работы Врзала в области славистики.

А. Врзал передал 36 писем 22 русских писателей XIX-го и нач. XX-го века Славянскому семинару философского факультета Университета им. Масарика в Брно. Сергей Вилинский затем опубликовал письмо А. П. Чехова и 3 письма В. Г. Короленко, которым он придавал высокое литературно-историческое значение. Менее знаменательная часть корреспонденции, остающаяся в Областном архиве в Брно, долго не публиковалась. Среди адресатов Врзала, к которым он обращался с просьбой о краткой автобиографии для своей истории русской литературы, кроме уже упомянутых выше, были также А. И. Эртель, Г. А. Мачтет, С. И. Гусев-Оренбургский, А. А. Измайлов, И. А. Салов, А. М. Скабичевский, Б. Зайцев, Р. И. Сементковский, М. Вс. Крестовская, И. Н. Потапенко и К. В. Назарьева. Кроме этого, среди писем и почтовых карточек можно обнаружить тексты известных чешских деятелей культуры. К ним относятся, например, издатель и составитель Я. Отто, Войтех Мартинек, Ярослав Квапил и К. Достал-Лутинов. Львиная доля в издании существенной части русской корреспонденции Врзала принадлежит брненскому русисту, доц. Ярославу Мандату, который работал с наследием Врзала в 60-х и 70-х гг. Результаты он публиковал как в «Сборнике трудов философского факультета брненского университета», так и в журнале «Čs. Rusistika»: это было письмо Д. Н. Мамина-Сибиряка, автобиография А. И. Эртеля, письма С. Гусева-Оренбургского, чьи произведения Врзал переводил, письма Б. Зайцева. Я. Мандат, кроме того, опубликовал две обобщающие статьи о корреспонденции Врзала³. Автор данной работы опубликовал письмо Ростислава

³ См.: 1) Mandát, J.: *Интересное собрание автографий русских писателей*. Čs. rusistika 1964, 167-172; 2) Mandát, 1971 – Mandát, J.: *Потерянные письма русских писателей*. SPFFBU, D 17-18, 1971, 247-248.

Ивановича Сементковского (1846-1919)⁴. Врзал, пишущий и делающий переводы под псевдонимом А. Г. Стин, что было акронимом его имени в монастыре – Августин, в переводе сосредотачивался скорее на менее известных в то время, а потому и более плодотворных в поэтологическом смысле, писателей: например, на Н. С. Лескове.

Важным источником для изучения внутренней жизни Врзала является его библиотека; здесь можно сослаться на нашу книгу о Врзале (Pospíšil, 1993). Его концепция русской и других славянских литератур происходила из религиозного, христианского и католического понимания, но была достаточно толерантной – непримиримой, пожалуй, лишь в этической плоскости. Литературно-критическое и литературно-историческое творчество Врзала было принято в чешских землях не слишком положительно. Причиной тому был изначально компилятивный характер его работ, его религиозное, основанное на «вчувствовании» и этическое видение литературы наперекор приходящим имманентным методам – прежде всего, формализму и структурализму (Vrzal, 1891-1897, 1899, 1912, 1926).

С начала XX-го века Центральная Европа была точкой пересечения идейных течений, в том числе литературоведческих. Такое положение вещей сохранялось и после возникновения Чехословацкой республики; и даже еще больше углубили его Октябрьская революция и последующая эмиграция интеллигенции, а также так называемая «Русская акция» Масарика. На территории межвоенной Чехословакии переплетались влияния русской формальной школы и ее представителя Романа Якобсона (1896-1982), привнесшего русское кружковство на почву основанного им и Вилемом Матезиусом Пражского лингвистического кружка, а также позитивизма, наук о духе и психологических методов интуитивистского и неоиdealистического толка, из которых, кроме всего прочего, вырос Рене Веллек (1903-1995), который затем вместе с Якобсоном перенес эту методологическую базу в США (Pospíšil – Zelenka, 1996). В такую сложную, но продуктивную атмосферу входит в первой половине 20-х гг. Сергей Григорьевич Вилинский (1876-1950), в чьей личности складывается система восточно-западного и северо-южного движения мысли, экстраординарный и штатный профессор и проректор Одесского университета, русский медиевист⁵. Его личное дело, связанное с работой в Университете им.

⁴ См. интернет-источник http://az.lib.ru/s/sementkowskij_r_i/text_0030.shtml, электронные книги http://www.litres.ru/pages/biblio_authors/?subject=63384

⁵ Этому посвящено несколько наших работ, см. ссылки в скобках.

Масарика, находится в университетском архиве. Из автобиографии С. Вилинского, написанной им по-чешски и датированной 24-м марта 1935 г. (в связи с подачей заявления о сдаче серьезных докторских экзаменов, ибо его титул доктора русской словесности, присвоенный ему в Одессе в 1914 г., по законам того времени не мог быть использован у нас), можно узнать, что он родился в Кишиневе, где в 1895 г. закончил 1-ю классическую гимназию; затем в течение недолгого времени он был студентом петербургского историко-филологического института; с осени 1896 г. учился в славяно-русском отделении историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе. Там началась его стремительно набирающая обороты научная карьера, вершина которой пришлось на 1912-1914 гг., когда он стал проректором и ординарным профессором русской литературы на основании защиты докторской диссертации *Житие св. Василия Нового в русской литературе*. 7-го февраля 1920 г. Вилинский эмигрировал из России; в порту перед отплытием у него украли все чемоданы, так что потом, в Европе, и свои собственные книги ему пришлось искать в букинистических магазинах. Так начался его нелегкий болгарский анабазис: он работал учителем в гимназии в Плевне, затем был переведен в качестве учителя латинского языка в Софию; работать в гимназии в Пловдиве он отказался и, пробив некоторое время безработным, стал банковским служащим. Летом 1921 г. проф. Вацлав Вондрак пригласил его читать лекции по русской литературе в недавно основанном Университете им. Масарика. В ноябре 1921 г. в этом университете Вилинского избрали профессором по договору, а в апреле 1923 г. он был им назначен. Кроме профессорских обязанностей в Университете им. Масарика в Брно, он преподавал русскую литературу в русском педагогическом университете в Праге вплоть до 1927 г., когда этот университет был расформирован. Методологический анализ его трудов брненского периода представлен в наших работах (Pospíšil, 1996, 2000, 2009).

С Сергием Вилинским связаны и другие известные имена, которые по-своему замыкают собою центральноевропейский методологический круг: в Одессе его учеником был выдающийся медиевист Н. К. Гудзий, а в зимнем семестре 1913 г. у него также учился Михаил Бахтин (1895-1975), который затем перешел в Санкт-Петербург (что рождает вопрос, насколько знаток античности и средневековья Вилинский повлиял на позднейшую ориентацию Бахтина). Однако основатель брненской литературоведческой русистики, который достраивал специфическую форму брненской

славистики Франка Воллмана (1888-1969), также связан с традициями русского и чешского византиеведения. Из брненских русистов последователем Сергия Вилинского всегда называл себя его ученик доц. Ярослав Мандат (1924-1986), который слушал лекции Вилинского по русскому фольклору, древнерусской и новорусской литературе.

Первым профессором сравнительной истории славянских литератур в Университете им. Масарика был компаративист и фольклорист, а также политик и дипломат Йиржи Горак (1884-1975)⁶. Уроженец Бенешова и во времена Первой республики, и позднее коренным образом повлиял на формирование гуманитарных наук, в особенности славистики и сравнительного изучения литературы и фольклора. Сама его блестящая академическая карьера демонстрирует широту его интересов: в 1919-1922 г. он был доцентом сравнительной истории славянских литератур на философском факультете Карлова университета, затем – экстраординарным профессором в брненском Университете им. Масарика (1922-1926), а с 1927 г. – штатным профессором Карлова университета; и наряду со всем этим он стал основателем Государственного отделения народной песни, Чехословацкого этнографического общества, Славянского института и славянских отделений в Праге и Брно, Матицы чешской и прочих институций. Его большим вдохновителем был Т. Г. Масарик, показавший ему путь к познанию России, прежде всего, своим произведением *Россия и Европа*, написанным по-немецки (вообще, Йиржи Гораку принадлежит львиная доля работы над чешской версией этой гербовой для чешской русистики книги). Во время войны он был арестован за антинацистское сопротивление, после Второй мировой войны стал послом Чехословакии в Москве (1945-1948).

Есть что-то символическое в том, что Горак в должности (экстраординарного) профессора Университета им. Масарика после его провозглашения штатным профессором Карлова университета сменил назначенный на его место профессор Франк Волльман, который пришел туда из братиславского Университета им. Коменского: три чехословацких университета, до настоящего времени являющиеся ядром чешского и словацкого высшего образования, встречаются таким образом в обеих этих личностях – преемниках основополагающих традиций нашей славистики.

⁶ См. наш краткий медальон *Výročí slavisty, folkloristy, literárního vědce: Jiří Horák (1884-1975)*. Universitas 2004, č. 4, s. 17-18.

Правда, Архив Университета им. Масарика предоставляет о Гораке лишь невыразительные служебные и личные документы⁷ (Pospíšil, 2011).

С Университетом им. Масарика, без сомнения, тесно связан профессиональный путь Романа Якобсона (1896-1982). Его письменные материалы официального и личного характера, относящиеся к этому периоду, находятся в Архиве Университета им. Масарика. В связи с ними не лишена интереса проблема так называемых *vota separata*, т. е. писем-протестов, написанных тремя профессорами Университета им. Масарика и связанных с доцентурой Романа Якобсона. Материалы касаются личности Якобсона, качества его научной работы, его взаимоотношений с чешской и немецкой средой, его политических взглядов, чехословацко-советских отношений и, не в последнюю очередь, межличностной ситуации в тот момент в Университете им. Масарика. Информацию об этом можно найти в нескольких наших материалах, последний из которых был издан в России в 2010 г.⁸ (Pospíšil, 2000, 2022, 2010) – более подробно изложено в главе настоящей книги под названием *Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных связей*.

Для полноты представления о лучших славистах, работающих в Брно, в Университете им. Масарика, следовало бы сказать и о ряде других, и прежде всего о ключевой фигуре Франка Волльмана (1886-1969), которому мы с коллегами посвятили свою авторскую и издательскую деятельность, включая основание Славистического общества им. Франка Волльмана (Pospíšil – Zelenka, 2003) и чье ключевое произведение *Slovesnost Slovanů* (1928) в ближайшее время снова выйдет на чешском языке, на основе немецкого издания. Но это уже отдельная обширная глава.

Литература

Horák J.: *Z dějin literatur slovanských. Stati a rozpravy*. Uspořádal Julius Dolanský a Jan Thon. Jos. R. Vilímek, Praha 1948.

Mandát J.: *Neznámý dopis D. N. Mamina-Sibirjaka*. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (SPFFBU), D 11, 1964, 161.

Mandát J.: *Интересное собрание автографий русских писателей*. Čs. ru-sistika 1964, 167-172.

⁷ О Гораке см. две наших работы в ссылках на литературу.

⁸ Мы ссылаемся на свои статьи о *vota separata*, а также на брненский юбилейный сборник *Litteraria Humanitas IV, Roman Jakobson, Brno 1996*.

- Mandát J.: *Неизвестная автобиография А. И. Эртеля*. SPFFBU, D 12, 1965, 215-221.
- Mandát J.: *Письма С. Гусева-Оренбургского к чешскому переводчику*. SPFFBU, D 13, 1966, 139-144.
- Mandát J.: *Письма Б. К. Зайцева в Чехию*. SPFFBU, D 15, 1968, 203-205.
- Mandát J.: *Потерянные письма русских писателей*. SPFFBU, D 17-18, 1971, 247-248.
- Mandát J.: *Vzpomínka na S. G. Vilinského*. Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, D 33, 1986, XXXV.
- Pospíšil I.: *Augustin Alois Vrzal podruhé*. „Lidová demokracie“ 10.12.1991, s. 5.
- Pospíšil I.: *Rusista Augustin Alois Vrzal*. „Lidová demokracie“ 1.11.1991, s. 5.
- Pospíšil I.: *Alois Augustin Vrzal: Koncepce a dokumenty*. SPFFBU, D 40, 1993, s. 53-62.
- Pospíšil I.: *Razance a citlivost: K fenoménu Střední Evropy v meziválečném období (tři vybraná vota separata k brněnské habilitaci Romana Jakobsona). Slovensko-české vztahy a svislosti*. Bratislava 2000, s. 49-60.
- Pospíšil I.: *Založena Společnost Franka Wollmana*. „Univerzitní noviny“ 2001, č. 4, s. 16.
- Pospíšil I.: *Rasanz und Feingefühl: Zum Phänomen Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit*. In: *Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Perekrestki kul'tury: Srednjaja Jevropa*. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2002, editor: Ivo Pospíšil, ISBN 80-210-2812-2, ISSN 1213-1253, s. 265-278.
- Pospíšil I.: *Sieben Bemerkungen zu Frank Wollmans Slovesnost Slovanů*. In: *Frank Wollman: Die Literatur der Slawen*. Herausgg. von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003., s. 355-362 (aus dem Tschechischen übersetzt von Reinhard Ibler).
- Pospíšil I.: *Kulturní zápisník. Dobrá zpráva z Marburgu i Bonnu pro naše „rodinné stříbro“ (prezentace knihy F. Wollmana Slovesnost Slovanů, Praha 1928 - Die Literatur der Slawen, Peter Lang 2003)*. „Univerzitní noviny“ 2004, č. 1, s. 55-56.
- Pospíšil I.: *Пушкин глазами трех чехов: три концепции*. In: *Болдинские чтения*. Комитет по культуре Нижегородской области, Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина

кина „Болдино“, Нижегородский Гос. Университет им Н. И.Лобачевского. Нижний Новгород 2005, s. 227-235.

Pospíšil I.: *О некоторых романых фрагментах Александра Пушкина*. In: *Болдинские чтения*. Комитет по культуре Нижегородской области, Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина „Болдино“, Нижегородский Гос. Университет им Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород 2006, s. 183-197.

Pospíšil I.: А. С. *Пушкин в антологии Франтишека Вымазала „Славянская поэзия“*. In: *Болдинские чтения*. Комитет по культуре Нижегородской области, Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина „Болдино“, Нижегородский Гос. Университет им Н. И.Лобачевского. Нижний Новгород 2007, s. 264-269.

Pospíšil I.: *Brněnský příběh Sergije Vilinského*. In: Lubica Harbul'ová (ed.): *Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech (prvá polovica 20. storočia)*. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2009, s. 186-193.

Pospíšil I.: *Rossija i Central'naja Jevropa s osobym učetom češko-russkich literaturnych svjazej*. In: *Universalii russkoj literatury 2*, sbornik statej, ed. A. A. Faustov. Nauka-Junipress, Voronež 2010, s. 606-628.

Pospíšil I.: *Jiří Horák a obrisy jeho koncepce srovnávacích slovanských literatur*, sb. o J. Horákovi, v tisku.

Pospíšil I.: *Йиржи Горак и его видение русской литературы*, sb. *Универсалии русской литературы 3*, в печати.

Pospíšil I. – Zelenka, M.: *René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky*. Brno 1996.

Pospíšil I., Zelenka, M.: *Mitteleuropa als Knotenpunkt der Methodologien. Frank Wollmans Slovesnost Slovanů – Traditionen und Zusammenhänge*. In: Frank Wollman: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003. ISSN 1434-3193, ISBN 3-631-51849-80, s. 7-30 (spoluautor Miloš Zelenka). Aus dem Tschechischen übersetzt von Reinhard Ibler.

Pospíšil I.: *Alois Augustin Vrzal a jeho duchovní dědictví*. Universitas, Brno, 1992, č. 6, s. 27-30.

Pospíšil I.: *Alois Augustin Vrzal: A Catholic Vision of Slavonic Literatures*. „Slovak Review“ 1992, No. 2, s. 166-171.

- Pospíšil I.: *Alois Augustin Vrzal: Koncepce a dokumenty*. SPFFBU, D 40, 1993, s. 53-62.
- Pospíšil I.: *Srdce literatury. Alois Augustin Vrzal*. 43 strany. Brno 1993.
- Pospíšil I.: *Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge*. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, s. 223-230.
- Pospíšil I.: *Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij*. Slavia Occidentalis, t. 57, Poznaň 2000, s. 219-233.
- Pospíšil I.: *Významné osobnosti naší univerzity. Zakladatel literárněvědné rusistiky na Masarykově univerzitě (Sergij Grigorovič Vilinskij, 1876-1950)*. Universitas 1/2000, s. 36-38.
- Pospíšil I.: *Existuje moravská literárněvědná rusistika a ukrajinistika?* In: *Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek*. Matice moravská, Brno 2001, s. 153-172.
- Pospíšil I.: *Первый моравский историк русской литературы (А. Vrzal). Русский язык в центре Европы*. Banská Bystrica 2001, č. 4, 56-61.
- Pospíšil I.: *Double Réfraction. La mort de Tolstoj en Bohème et en Moravie*. *Revue des Études slaves*, tome LXXXI (2010), fascicule 1, Tolstoj 1910. Échos. Résonances. Interprétations. S. 53-70. ISSN 0080-2557. ISBN 978-2-7204-0465-8.
- Vrzal A.: *Historie literatury ruské XIX. století dle Al. M. Skabičevského a jiných literárních historikův i kritikův upravil A. G. Stín. Šašek a Frgal*, Velké Meziříčí 1891-1897, 952 s.
- Vrzal A.: *Alexandr Sergejevič Puškin. Jeho život a literární činnost*. Otištěno z Hlídky r. 1899.
- Vrzal A.: *Nábožensko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském*. Otisk z Hlídky r. 1912.
- Vrzal A.: *Přehledné dějiny nové literatury ruské*. V Brně 1926.
- Vymazal F.: *Slovanská poezije. Výbor z národního a umělého básnictva slovanského v českých překladech*. Sestavil a literárními úvody opatřil Frant. Vymazal. I. svazek. Ruská poezije. V Brně 1874, 115.
- Wollman F.: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003. ISSN 1434-3193, ISBN 3-631-51849-80. 402 s.

**ЛИТЕРАТУРА СЛАВЯН ФРАНКА ВОЛЛМАНА
И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ НОВОГО ЧЕШСКОГО
ИЗДАНИЯ ИЗВЕСТНОЙ КНИГИ)**

Новое издание знаменитой книги Франка Воллмана (5.V.1888 – 9.V. 1969) *Словесность славян*⁶⁴ вызывает ряд общих размышлений о сущности славистики, славянской филологии, литературоведения и компаративистики, а также о концепции единого целого славянских литератур и об отдельных славянских литературах. В своем отклике, исходящем из наших предыдущих раздумий, мы напоминаем об этой основополагающей книге Воллмана, стоявшей у истоков чешского сравнительного литературоведения и чешской сравнительной славистики – особенно ее пражско-бременской ветви, которую сын Франка Воллмана, Славомир (3.8.1925 – 27.1. 2012), называл «чешской школой литературной компаративистики»⁶⁵, главным образом, с точки зрения ее представительства и концепции русской литературы.

⁶⁴ Frank Wollman: *Slovesnost Slovanů*. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Red.: Eva Niklesová, redakční spolupráce: Natálie Čuvelva. 2. vyd. (1. vyd. 1928). TRIBUN EU, Brno 2012. Первоначальное издание: Frank Wollman: *Slovesnost Slovanů*. Vesmír, Praha 1928. Немецкий перевод: Frank Wollman: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003. Этот текст частично опирается на пассажи, написанные автором в исследовании, созданном в соавторстве с Милошем Зеленкой, – *Střední Evropa jako křížovatka metodologií: Slovesnost Slovanů Franka Wollmana – tradice a souvislosti (Nad druhým českým vydáním)* – и на его немецкую версию и текст автора в немецком издании *Sieben Bemerkungen zu Frank Wollmans Slovesnost Slovanů*. In: Frank Wollman: *Die Literatur der Slawen*. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil. Aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Renate Belentschikow und Reinhard Ibler, Bd. 7. Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2003 (aus dem Tschechischen übersetzt von Reinhard Ibler).

⁶⁵ См. Slavomír Wollman: *Česká škola literární komparistiky. Tradice, problémy, přínos*. Univerzita Karlova, Praha 1989. Также: *Porovnávací metóda v literárnej*

Славянский признак, или славизм (а, следовательно, и качество славянских литератур), понимается не только как разграничительная, но и как сплачивающая, интегрирующая и даже превосходящая и трансцендирующая особенность. Славянские литературы рассматриваются как единое целое и, в то же время, как разность, разобщенность, плюрализм, средоточие и «литейная форма» для всевозможных влияний и взаимосвязей; как внутренне разрозненный и все-таки цельный объект (*eidos*). В славянских литературах отражаются не только этничность славян и их историческое развитие, но и, главным образом, пространственно-административные категории, например, Центральная Европа, Балканы, Восточная Европа и выходящая за эти рамки Азия. Волльман активно вводит эти контексты в свои размышления, как только это оказывается возможным и действенным: он показывает славянский мир всегда открытым для остальной Европы (итальянская культура в Далмации, германское влияние на западных славян, Россия и Европа и т.п.).

Толкование Волльмана имеет, по сути своей, два ядра: это устная эпика и лирика и романтизм – к тому же, как можно заметить, они генетически взаимосвязаны. Здесь Воллман прослеживает основной содержательный и формальный признак южнославянской и восточнославянской эпика и лирики, а также западнославянской лирики, в которой он ищет отражение соотношений человека и действительности. Казалось бы, внимание Воллмана направлено скорее на крупные литературные блоки, проиллюстрированные на примере конкретных авторов и произведений; однако Воллман точен и динамичен в деталях, в своем видении развития отдельных авторов: Ю. Словацкий, по его мнению, предвосхищает модернизм; Н. К. Батюшков стремится к неоклассицизму; в Н. С. Лескове (который в первом издании отсутствует даже в указателях) он нащупывает способность к типизации и фабуляции и знание национальной жизни.

Волльмановская парадигма развития является попыткой сохранить цельность и целостную основу славянских литератур, начиная со следов мистического творчества, церковнославянской грамотности и возникновения западнославянской письменности – и кончая Реформацией, гума-

vede. Tatran, Bratislava 1988. См. наши работы о С. Волльмане и его некролог: *Slavomír Wollman a slavistika dnes (Několik jubilejních poznámek k novější tvorbě)*. In: *Kontexty literární vědy II*. Literárněvědná společnost, o. s., OFTIS, Ústí nad Orlicí 2009, s. 11-17. Приложение: *Скончался славист и компаративист Славомир Воллман*. In: „Новая Русистика” 2012, supplementum *Международная славистика в прошлом и настоящем: проблемы методологии и кризис организации*, с. 77-85.

низмом, католицизмом и барокко, вплоть до подъема народной словесности и ее влияния на романтизм, имевший как автохтонные, так и инонациональные идейные источники (в первую очередь, немецкие и английские). На этом едином полотне, тем не менее, можно обнаружить пробелы, царапины и трещины, вызванные неравномерностями и неидиллической судьбой славянства. Одновременно Воллман заметил, что именно эти «недостатки» славянских литератур и регресс в их развитии могут принести с собой новые объединения и новые импульсы к развитию. Так удивительным образом может случиться, что славянские литературы, благодаря некоторым своим частям, окажутся на переднем плане в процессе развития: Воллман видит это, к примеру, у Петра Великого (которого он называет первым европейским просвещенным монархом, появившимся задолго до западноевропейских и центральноевропейских «философов на троне»), далее в русской литературе XIX-го века, а также, например, у Карела Гинека Махи, в котором Воллман видит непосредственную вершину европейского романтизма и которого ставит – еще вопрос, насколько заслуженно – выше Пушкина и польских романтиков.

Хотя *Словесность славян* ценилась и ценится, главным образом, за свои теоретические и концептуальные искры, а также в качестве важного учебного материала, существенной является, в особенности, ее литературно-историческая роль. Европейские парадигмы кажутся Воллману особенно неподходящими и ограниченными в применении по отношению к южнославянским и восточнославянским литературам. Иначе говоря: они полезны лишь как фон действительной, реально существующей типологии. И здесь в качестве нового варианта возможны или радикальное решение в виде коренного сдвига в развитии, основанного на так называемой задержке, или более умеренный, поступательно-эволюционный вариант, который мы и предлагаем в данном случае. Именно так, например, построена парадигма развития русской литературы Вадима Кожинова, созданная в 70-е гг.⁶⁶, в которой классицизм полностью вытеснен, а весь XVIII-й век и первая треть XIX-го века обозначены как «опоздавшее русское Возрождение» (оно персонифицировано – начиная с Ломоносова и кончая Пушкиным). Барокко представляет творчество Н. В. Гоголя, сентиментализм – Ф. М. Достоевский, в особенности его первый литератур-

⁶⁶ Вадим Кожин: *К социологии русской литературы XVIII-XIX веков (К проблеме литературных направлений)*. In: *Литература и социология*. Москва 1977, с. 137-177.

ный опыт – *Бедные люди* (1846), романтизм – славянофилы, а критический реализм сдвинут на самый рубеж 19-го века. Эта концепция, однако, не учитывает один факт, который нельзя игнорировать: русский классицизм и сентиментализм были нормальным явлением уже в XVIII-м веке, хотя, возможно, не совсем соответствовали общественному и духовному состоянию русского общества. Если допустить это игнорирование, то литературу и ее развитие придется считать простой копией общественных процессов, которые не способны ни опережать общество, ни опаздывать, не поспевая за ним. Но это неверно ни в случае центральноевропейских, ни в случае западноевропейских литератур. Исходным пунктом может быть концепция пре-пост парадокса, или пре-пост эффекта, которую мы изложили в нескольких статьях⁶⁷. Речь идет о том, что литература усваивает чужие импульсы к развитию в нескольких волнах, что она впитывает их медленно и поступательно. В XVIII-м веке это касается первой волны классицизма, Просвещения, сентиментализма и предромантизма, их имитации; позднее эти явления снова возвращаются: Гоголь, и правда, в значительной степени барочный автор (известны его любовь к барокко и интерес к католицизму); Достоевский использует сентиментализм в *Бедных людях* как оружие против социологической односторонности русской натуральной школы; русский литературный процесс XVIII-го и XIX-го вв., в глобальном смысле, действительно обладает возрожденческими чертами, но внутри него уже буйно разрастаются иные литературные формы и направления. Подобные черты есть и у южнославянских литератур, а с определенной поправкой этому могла бы соответствовать и периодизация западнославянских литератур; причем очевидно, что у каждой из этих славянских литератур есть своя специфика развития. Понимание Волльмана одновременно является и вызовом к «ревизии» существующих на данный момент традиционных моделей развития, до сих пор в большей или меньшей степени заимствованных из западноевропейских литературно-исторических инвентарей.

Основной тезис Волльмана заключается в том, что славянские литературы возникали на европейских культурных перекрестках как продукт средиземноморского культурного типа: именно здесь Воллман предвос-

⁶⁷ Pospíšil I: *Paradoxes of Genre Evolution: the 19th-Century Russian Novel*. „Zagadnienia rodzajów literackich“ 1999, 42, z. 1-2, s. 25-47; Pospíšil I.: *О некоторых специфических чертах развития русской литературы*. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, „Slavica Litteraria“, X 3, 2000, s. 27-41.

хищал похожие усилия Диониза Дюришина и итальянских компаративистов⁶⁸. Несмотря на сложные исторические судьбы отдельных славянских общностей (монголо-татарское нашествие у восточных славян, турецкие войны – у южных, давление германизации – у западных), Воллман наблюдает славянскую и европейскую преемственность, т. к. было невозможно препятствовать проникновению и движению литературного материала: более того, славяне не были закрыты даже для восточного движения. С этой точки зрения, Воллман мог констатировать, что „славянские литературы были более богаты собственными ценностями, чем средний западноевропейский литературный показатель”⁶⁹, что они обладали одинаковыми или схожими ценностями, так что „на литературной карте Европы славянские области были бы закрашены, вероятно, одними и теми же антропологическими красками и одними и теми же зонами исторических эпох и идейных течений; различие, возможно, обнаружилось бы лишь в насыщенности цвета и в толщине линий. Но кроме того, проступали бы межславянские оттенки пестрой и намного более сложной сети межславянских влияний, особенно в области тематологии и типологии. Этот межславянский плюс связан не только с наследием византийской культуры и ортодоксии и обусловлен не только более-менее органичным внедрением западноевропейских влияний, но и их восприятием, отбором и способом обработки”⁷⁰.

В постволлмановской компаративистике в целом, кроме более глубокого познания литературных явлений (отдельных произведений, произведений разных авторов разных национальных литератур), включая би- и полилитературность и «двудомность» и «многодомность», шла речь о создании высших содержательных синтезов. Первый шаг к ним – это естественное существование так называемых родственных литератур, близких в языковом, культурном, общественном, или же политическом отношении общностей. Традиционно здесь указываются славянские литературы; однако назвать с той же уверенностью романские или германские литературы едва ли возможно. Иначе говоря: механистическое отождествление языковой близости с близостью литературной невозможно;

⁶⁸ *Il Mediterraneo. Una rete interletteraria. La Méditerranée. Un réseau interlittéraire. Stredomorie. medziliterárna sieť.* A cura di Dionýz Ďurišin e Armando Gnisci. Roma 2000.

⁶⁹ Frank Wollman: *Slovesnost Slovanů*, vyd. Praha 1928, s. 234.

⁷⁰ Frank Wollman: *Slovesnost Slovanů*, vyd. Praha 1928, s. 233-234.

в случае славянских литератур также выражались сомнения по поводу их компактности, интенсивность которой изменчива (более явной она была на начальной стадии литературного развития, затем, пожалуй, в XVIII-м и, в особенности, в XIX-м веке в годы национальных возрожденческих движений, когда прежняя и нынешняя близость вновь усиливалась).

Русская литература, в понимании Воллмана, не может не занимать ключевого положения, причем не только в количественном смысле. Это определяется ее международным значением, которое она постепенно выстраивала, начиная с XVIII-го века, но полностью выстроила уже в последующем и в минувшем для нас столетии. Тем не менее, необходимо осознать тот факт, что Франк Воллман как чешский ученик Матии Мурко (1861-1952), которого президент (а также социолог, историк философии и, не в последнюю очередь, русист) Т. Г. Масарик призвал в Карлов университет из Лейпцига, в работе с материалами и в процессе своего обучения (южнославянские литературы, особенно драматургия⁷¹) должен был склоняться к южнославянскому фольклору (позднее он вместе со своими словацкими учениками собирал в Словакии сказки); а как чех, близкий полякам, он не мог недооценивать и эти литературы: это заметно особенно в тех местах, где он выделяет чешскую готическую литературу XIV-го века, польский Ренессанс и гуманизм, романтизм и *Май* Карела Гинека Махи.

Изложение Воллмана включает в себе несколько ценностных ядер: на первом месте стоит фольклор, устная народная словесность, устная продукция. Само название, собственно говоря, является игрой слов Воллмана: чешское слово «словесность», общеупотребительное во всех славянских языках (конечно, с различными значениями и их вариациями), в чешском языке XIX-го века означало, с одной стороны, фольклор, устную словесность, а в трактовке Йозефа Юнгманна – также теорию литературы, а позднее и литературу (как, впрочем, и в русском языке – *Учитель словесности* Чехова). Воллман, таким образом, использует это слово в значении «литература», т. е. записанный устный продукт; в то же время, однако, здесь есть намек на сильную и практически доминантную позицию фольклора в славянских литературах – в первую очередь, конечно, в южнославянских и восточнославянских. Это Воллман, кстати, подчеркивает уже в начальных частях своей публикации, где он пишет о ми-

⁷¹ См. книгу Ф. Воллмана о южнославянской драме (словенской, хорватской и сербской), включенную затем в книгу *Dramatika slovanského jihu* (Praha 1930).

фических началах славянского творчества, и, главным образом, далее, где он анализирует литературу Киевской Руси. Хотя Воллман полностью осознает, что после миссии Константина и Мефодия Великая Моравия, а позднее и чешское государство Пржемысловичей приняли латинское богослужение и страна стала частью Священной Римской империи немецкой нации, он считает церковнославянскую грамотность естественной составной частью чешской культурной традиции: эта определенная восточно-западная раздвоенность, до сих пор не исчезнувшая со сцены даже чешской политики, преодолевает свою концепцию «средиземноморности»⁷². Дихотомию «Восток – Запад» Воллман считает последней инновацией после церковной схизмы, далее связанной с монгольским нашествием и некоторой изоляцией восточных славян, хотя и неполной, а затем антиисторически актуализированной политическим развитием в XIX и особенно в XX-м веке и холодной войной. В сфере культуры Воллман не видит причин для такого разъединения, и прежде всего в средиземноморской традиции, берущей начало из египетско-шумерско-аккадской (месопотамской) традиции на фоне южно- и восточноазиатской, впадающей в греко-римскую (античную) – которые он в своей философии и литературе разработал как комплекс, ставший отправным пунктом для европейского Средневековья, а также для Ренессанса, гуманизма, Реформации, Контрреформации, барокко и последнего масштабного возвращения к античности – европейского классицизма. Тем, что Воллман особенно подчеркнул ренессансно-гуманистический комплекс (его глава называется *Реформация, гуманизм, католизация, барокко*; далее следует *Устная эпика и лирика* и *Будительские движения эпохи Просвещения*), он показал весь этот период как одно временное и территориально-ареальное целое. Хотя Воллман уже не мог зафиксировать новые попытки интеграции барокко в русскую литературу в статьях нерусских и русских/советских исследователей примерно в 60-х гг. XX-го века (что он, конечно, заметил как ученый с большим опытом), он, разумеется, видел посредни-

⁷² См. наши работы: *Mediterránní centrismus a ruská literatura*. Universitas 1995, č. 2, s. 14-19. *Il centrismo interletterario mediterraneo e la letteratura russa*. In: *Il Mediterraneo. Una rete interletteraria. La Méditerranée. Un réseau interlittéraire. Stredomorie medziliterárna sieť*. A cura di Dionýz Ďurišin e Armando Gnisci. Università degli studi di Roma „La Sapienza“, Studi (e testi) italiani. Collana del Dipartimento di italianistica e spettacolo, Bulzoni Editore, Roma 2000, s. 101-109; французская версия, *Centrisme interlittéraire méditerranéen et littérature russe*, s. 305-313; чешская версия: *Meziliteránní mediteránní centrismus a ruská literatura*, s. 509-516.

ческое влияние так называемой Западной Руси и польские, или же польско-белорусско-малорусско/украинские усилия⁷³.

С одной стороны, таким образом, Воллман видел продолжительное славянское единение или славянское литературное целое, пусть и дифференцированное. Воллман определенно не был приверженцем какого-либо искусственного славянского единства – ни культурного, ни литературного, ни, тем более, политического. Но он искал славизмы, т. е. общие славянские места (*loci communes, topoi*), там, где это было функционально. Интересно, что Воллман не выделял классицизм ни как нечто значимое именно у славян и особенно у русских, где тот сыграл знаменательную роль (хотя порой он вызывает сомнения или – как у Воллмана – скрывается за Просвещением) в реконструкции единства русской литературы и в ее уравнивании с европейским Западом, ни как стартовую площадку для предромантических движений и для русского романтизма, развивавшегося примерно в то же время, что и английский романтизм – пожалуй, еще до романтизма французского и после немецкой «романтики» (*die deutsche Romantik*).

Проблема в том, что Воллман не слишком задумывался над тем, почему в XIX-м веке русские достигли в литературе таких успехов, когда они шокировали мир своими аморфными творениями: романами Льва Толстого, Федора Достоевского, позднее неудавшимися драматическими романами или романскими хрониками Николая Лескова – и, наоборот, поражали новеллистическим мастерством Ивана Тургенева. В этом он напоминает своего учителя, уже упоминавшегося выше, – Матию Мурко.

Естественная «двудомность» Мурко, т. е. в его лингвистических и литературоведческих сочинениях, вытекает из синкретического характера его творчества, из его филологической основы в виде давнего единства языка и его эстетически ценных продуктов. Как мы писали в исследовании о некоторых аспектах литературоведческих произведений Мурко⁷⁴,

⁷³ См. Лаппо-Данилевский А.: *Politische Ideen in Rußland des 18. Jahrhunderts. История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом развития культуры и политики*. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Folge, Bd. 1. Предисловие М. Ю. Сорокиной. Подготовка текста М. Ю. Сорокиной при участии К. Ю. Лаппо-Данилевского. Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2005.

⁷⁴ Pospíšil I., Zelenka M., eds (2005): *Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky*. Sborník studií. Brno: Slavistická společnost Franka Wollmana se sídlem v Brně, Ústav slavistiky FF MU v Brně, Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2005, s. 46-53.

Матия Мурко еще исходил из филологического единства и, таким образом, развивал далее концепции, в чешской среде представленные, например, Павелом Йозефом Шафариком и Йозефом Юнгманном. Однако в то время, когда работал Мурко, старая филология, конечно, уже заметно расчленилась; это происходило наиболее явно в конце XIX-го века, в период преобладания духоведных/психологических/интуитивистских методов. Поскольку объединение филологии в своей изначальной форме уже тогда было неприемлемо, Мурко выбирает те области, в которых она была и, собственно говоря, остается и сегодня наиболее функциональной: фольклор и ранние фазы развития художественной литературы – и в этом он схож с А. А. Потебней. Чешское издание избранных сочинений Мурко, подготовленное Гораком в 1937 г.⁷⁵, определяет этот комплексный филологический подход (например, русский роман как пример проблематики культурного сдвига на оси «Западная Европа – славяне» или, соответственно, «Европа – Россия»; славянская взаимность как точка пересечения различных, часто противоречивых понятий, разъясняющихся в истории, философии, а также в филологии и имеющих сильный идеологический фон); одновременно выбор этих произведений субъективен, ибо он отражает позицию автора этой статьи и две области его интереса: с одной стороны, литературную теорию, историю и генологию, с другой – динамическую, конфликтную и гибкую концепцию славистики вчера и сегодня.

В этом смысле показательна статья Мурко *Počátky ruského románu*, изначальное – хабилюационная лекция на Философском факультете Венского университета (немецкий текст напечатан в *Wiener Zeitung* за 9-10-е января 1897 г. под названием *Die ersten Schritte des russischen Romans*; Горак приводит словенскую версию, *Ljubljanski Zvon*, XVII, 1987, 151-155, 207-212). По образцу лингвистики того времени, которая в сравнительном языкознании искала истоки, генезис таких явлений, т. е. в данном случае «чуда русской литературы» и особенно русского романа, стоявшего во главе мирового развития именно в русском исполнении во второй половине XIX-го века и, прежде всего, на рубеже XIX-го и XX-го вв., он ищет корни этого явления и находит их в миграции (А. Веселовский, 1838-1906)

⁷⁵ Murko M.: *Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik. Mit einem Anhang: Kollár in Jena und beim Wartburgfest*. Verlags- Buchhandlung „Styria“, Graz 1897; Murko M.: *Rozpravy z oboru slovanské filologie*. Uspořádal Jiří Horák. Praha: Nákladem Slovanského ústavu – v komisi nakladatelství Orbis, 1937.

тем и мотивов из Западной Европы через южнославянское и западнославянское посредничество – в первую очередь, чешское и польское.

Этим Мурко хочет сказать, собственно, о двух фактах: русский роман – это оригинальное, аллохтонное явление, но в то же время у него есть и автохтонные источники; их Мурко, опять же, видит в переносе (транспозиции, трансплантации, трансгрессии) эпических материалов (*Stoffgeschichte*). Эти размышления, однако, совершенно не объясняют нам «чуждо» русской литературы – возникновение и развитие романа на русской почве и его художественные качества; тематология здесь совершенно беспомощна: таким образом анализируется скорее культурная почва, на которой он мог произрастать. То, что Мурко полностью упускает из виду собственно восточнославянские, или русские, тексты 15-17 вв. во главе с *Житием протопопа Аввакума, им самим написанным* (1672-1675) и написанными в то же самое время, в период правления Алексея Михайловича, бытовыми повестями типа Саввы Грудцына или Фрола Скобеева, т. е. вражду секуляризации и сакрализации (подтверждающую тезис о романе как о «нежеланном ребенке» русской литературы, который должен был пробиться в нее через самое мелкое сито и в результате получить своеобразный вид⁷⁶), является лишь логическим следствием этого филологического метода. Но этому проходящему и недолговечному в рефлексии Мурко противостоят ее более постоянные ценности, а именно его мысль о том, что понимание какой-либо одной национальной литературы возможно только на фоне более широких взаимосвязей.

Это очень похоже на концепцию Воллмана. В отличие от него Мурко был настоящим русистом; его поездка в Россию, собственно говоря, стала его исследовательской инициацией, в особенности обучение у А. Веселовского и контакт с русскими филологами⁷⁷. Воллман, как уже было сказано, тяготел скорее к Южной и Центральной Европе; движение мысли ученого, как его неоднократно характеризовал сын Воллмана Славомир, шло в юго-восточном направлении. Издатель Мурко, Йиржи Горак, предшественник Воллмана на кафедре славянских литератур в Брно, доминантной считал польско-русскую ось; Воллман и славянский Восток

⁷⁶ Pospíšil I.: *Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: Od počátků k výhledu do současnosti*. Ed.: Jaroslav Malina, obálka, grafická a typografická úprava Josef Zeman – Tomáš Mořkovský, Martin Čuta, ilustrace Boris Jirků. Nadace Universitas, Edice Scientia, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně, Brno 2005.

⁷⁷ См. Murko M.: *Paměti. Fr. Borový*, Praha 1949.

с генетической и языковой точки зрения, по сути говоря, верно выводил из славянского Юга и центра. В любом случае, Франк Воллман не видел силы русской литературы в период Ренессанса-гуманизма-барокко, что, однако, впоследствии должно было измениться. Возможно, уже в этом, а также в просветительском классицизме, в его поэтике и возврате к античности, которые были заметны еще и в жанровом расслоении романтизма как основного направления, на начальных стадиях русской классики – «золотого века», заключается причина того, что он не занимался более глубоко этой русской подъемной силой, т. е. огромным качественным скачком русской литературы, происшедшим во второй половине XIX-го века и даже, собственно говоря, намного раньше.

Проблема славянских литератур специфична и в другом смысле. Ее специфика вытекает из своеобразного положения славянских народов как носителей этих литератур (несуществующие национальные государства, утрата национального языка, уничтожение национальной культуры – это проблема, скажем так, всех южных и, в известной степени, и западных славян; временная изоляция восточных славян от европейского развития – постепенно, начиная с 1054 г., в 1223-1240 гг. и вплоть до первых Романовых). Барокко здесь или менее различимо, или – с более поздней, национально эмансипированной точки зрения – воспринимается враждебно. Тем не менее, это не мешало обнаружению следов барокко и в других местах: понятие «барочный славизм» активно появляется с 60-х гг. XX-го века (Д. Чижевский/Čiževs'kyj/Tschizewski, С. Матхаузерова); следы этого направления ищут и находят в тех сферах, которые до этого времени отнюдь не считались типично барочными (например, В. Бехынёва обнаружила барокко в Болгарии) – основания для этого не только типологические, или поэтологические, но и генетические (Польша – Белоруссия – Украина – Россия; Италия – Балканы – Болгария).

Кажется, следовательно, что феномен барокко действовал не только как идейный и формальный принцип, но и как существенный глобализированный и глобализирующий фактор. Связанность барокко, классицизма и романтизма доказывалась и была доказана не единожды. О барокко уже было сказано; в то время как романтики искали скорее нарушение непоколебимого порядка и отыскивали элементы поэтической

и антропологической лабильности (нарастание мотивов безумия⁷⁸), классицисты выстраивали порядок и удерживали его тем, что создавали генерическую, стилевую и мотивную связь – в сущности, то, что сегодня называется интертекстуальностью.

Неравномерность развития, заметная на всем европейском пространстве, касается не только славянских литератур, что порой утверждается и что приводит к проекции неверного понятия *Ostmitteleuropa* как смешанной и отсталой части *Mittleuropa*: широко известно, например, с каким трудом немецкая литература в Новое время отвоевывала зрелую, «западную» позицию (культурная граница между Западом и Востоком в XVIII-м веке проходила именно через Германию – см. Ф. Воллман) и как декларативно стремился к этому И. В. Гете. Вообще же, Европа представляет собой конгломерат трех единств: Западной Европы, к которой в течение долгого времени относился и весь итальянский ареал, Центральной Европы – немецко-славянско-венгерской, а порой иной, в соответствии с переменами в культурных ареалах (Швейцария, Северная Италия, Трансильвания, часть Балкан и т.п.), и Восточной Европы после романовских реформ, в особенности реформ Петра I, таким образом мгновенно оказавшейся в имитационной западноевропейской зоне (не говоря уже о будущем характерном напряжении оппозиционных сил – уже А. Н. Радищева, позднее – декабристов, например, П. Свинина, К. Ф. Рылеева и др., и их симпатии к новообразованным США⁷⁹): вот объяснение такой разницы в развитии русской, украинской и белорусской литератур, в большой степени сохраняющейся вплоть до XX-го века; ее последствия заметны даже сегодня: эти две восточнославянские литературы похожи, скорее, на литературы Центральной Европы, т. е. на чешскую, словацкую, в определенной мере и на польскую, которая, однако, теснее связана с западным развитием.

Как и все у славян, она развивалась плавно, и ее контакт с ведущими на тот момент европейскими литературами был далеко не так решителен, как у русской литературы, которая во времена Ивана IV Гроз-

⁷⁸ I. Pospíšil.: *Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století*. Brno: Masarykova univerzita, 1995.

⁷⁹ Bodén D.: *Das Amerikabild im russischen Schrifttum bis zum Ende des 19. Jahrhunderts*. Cram: de Gruyter, Hamburg 1968. Pospíšil I.: *Puškinův „John Tanner“ - jeho kontext, smysl a funkce*. In: *Čs. rusistika 1986*, č. 3, s. 106-111. Тоже: *Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina*. Masarykova univerzita, Brno 1999.

ного и, главным образом, в эпоху первых Романовых (кульминационный момент пришелся на правление Петра I) расширилась до Северной и Западной Европы (Швеция, Нидерланды, Великобритания), откуда заимствовала не только организацию государственной жизни (прежде всего, из Швеции), но и материальную и духовную культуру (Нидерланды, Англия). Так случилось, что роль центральноевропейского моста к остальным славянам и другим народам Европы по-прежнему играли Украина и Белоруссия; впрочем, их публикационные центры – кроме Российской империи – находились на территории тогдашней Венгрии и, впоследствии, Австро-Венгрии, т. е., например, в Праге, Бude, Кракове и т.п. Тяготение белорусов к Центральной Европе, проявляющееся, в особенности, в публицистической и переводческой деятельности сегодняшней культурной и политической оппозиции, то усиливается, то слабеет и скорее выражает тяготение к Центральной Европе как к культурному, духовному пространству, к модельному центру, который своей мультиэтничностью и мультикультурностью лучше всего выражает промежуточное положение Белоруссии в сегодняшней Европе – положение посредника между европейским Востоком, Западом и Севером: такую роль, в определенной степени, играет и Словакия (по отношению к восточным и южным славянам), или же Словения (по отношению к Балканам и Центральной Европе).

Таким образом, представление Воллмана о русской литературе в его раннем, но, по всей видимости, важнейшем произведении *Словесность славян*, выявило два факта: во-первых, то, что Воллман не до конца понял, как и под каким давлением русская литература должна была качественно измениться, чтоб достичь того, чего она достигла в XIX-м веке и позднее; во-вторых, он показал русскую литературу как сложное северо-южное переплетение (для русской литературы ось Север – Юг характерна), которое наблюдалось в ней уже с раннего Средневековья: русская литература, по мнению Воллмана, не изолирована, а тесно связана с мировым и остальным славянским развитием. Из-за того, что он указывал на польское посредничество и влияние, а также на Балканы и Центральную Европу как таковую, в годы идеологического схематизма в СССР и других странах Центральной и Восточной Европы, когда напрямую программно подчеркивалось русская/советская исключительность (это, однако, уже в прошлом), его официально считали не слишком приемлемым. В этот период в СССР не публиковались даже западные работы по руси-

стике, и если они вообще упоминались, то лишь критически и негативно. Их переводы на русский язык стали появляться только в 90-х гг. XX-го века. Поэтому и компаративистика в 50-х гг. XX-го века была почти исключена из литературоведения.

Жаль только, что даже в наши дни работы некоторых славянских славистов практически не переводятся на русский язык; так, например, разумно подготовленная антология работ Воллмана, созданных в разное время, и сегодня могла бы быть интересна; хотя нужно признать, что на волльмановское понимание русской литературы влияло и то, что она не была в центре его исследовательского внимания в такой степени, как южнославянские и западнославянские литературы; его контекстуальный взгляд отразил русскую литературу и ее качественную специфику трезво, сравнительным способом. Благодаря этому Воллман не только избавил русскую литературу – от ее истоков до современности – от ее «чудесной» исключительности, но и продемонстрировал ее международные корни, ее генезис и современное Воллману функционирование: так построена и часть, посвященная славянскому модернизму, в которой именно русская литература как целое – поэзия, проза и драма – опять занимает доминантное место.

РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА С ОСОБЫМ УЧЕТОМ ЧЕШСКО-РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

При каком угодно объединении, при любых интеграционных процессах в Европе необходимо прежде всего учитывать ее мультинациональную структуру. Так называемый национальный вопрос до сих пор не смогла разрешить ни одна общественная система, т. к. он связан с биогенетической сущностью человека и больше всего объединяет человечество с природой и ее закономерностями. Миллионы лет развития, порой катаклизматического, а следовательно, и прерывистого, создавали формулы поведения и обращения, которые нельзя не учитывать (недоверие между народностями, проистекающая из языковых, культурных, цивилизационных отличий; проявления недружелюбия; инстинкт племенного самосохранения; геноцидный характер поведения и т.д.); некоторые политические системы пользовались и злоупотребляли этими формулами (национализм), другие пытались их подавить, но в конце концов капитулировали, принимая их как «черный ящик», табуизировали их или старались использовать в борьбе за овладение миром (коммунистическое движение, военно-промышленный комплекс, бой против колониализма, карта так называемого третьего мира). Тактика замалчивания и табуизации, или же использование эвфемизмов, оказывается в Европе неплодотворной: в то время как в США насильственная антисегрегационная политика могла привести к временно приемлемым результатам, в Европе это – в связи с ее историческими перипетиями – намного сложнее.

Наряду с попыткой объединения возникает и новое разъединение: традиционными являются дихотомии Запад – Восток и Север – Юг. При этом каждый подразумевает под этими понятиями что-то свое. В культурном отношении, вследствие принятия латинского ритуала, Чешские земли относятся к Западу, но уже в течение длительного времени они скорее находятся на перепутье, так как большая часть Моравии принадлежит в геологическом, природном, цивилизационном и культурном отношении скорее к среднеземноморскому ареалу, в то время как Западная Моравия и вся Богемия – к евроатлантическому, западноевропейскому пространству.

Например, для французов мы, совершенно очевидно, находимся на Востоке; иначе говоря, Аш относится к Востоку, а Хельсинки и Стамбул – к Западу: это явно политическое распределение, сегодня уже не отвечающее действительности, но, к сожалению, до сих пор сохраняющееся. При этом, к примеру, украинцы и белорусы вообще не чувствуют себя частью Востока или считают сами себя Центральной Европой – под Востоком они подразумевают Россию, а еще вероятнее, Азию. Убеждения, скажем так, рядового гражданина ЕС являются намного более показательными, чем дипломатические позиции политиков и правительств. Исторически очевидно, что вся Европа принадлежит к средиземноморскому цивилизационному региону, истоки которого – в Восточном Средиземноморье, то есть скорее в Западной Азии, но нельзя отрицать и другие деления, например, арабское вторжение, церковный раскол 1054 г., монгольское нашествие и т. п. Эти интеграционно-дезинтеграционные тенденции покрывали морщинами тело Европы, и последствия их заметны до сих пор.

В поиске интеграционных ядер было предпринято несколько попыток, которые, по сути, исходили из раскрытия давних связей и их восстановления и возобновлений. Одним из таких ядер является уже упомянутое выше понятие Центральной Европы. Значительную часть Центральной Европы формирует бассейн Дуная, о котором так увлекательно пишет итальянский германист Клаудио Магрис в канун «большого взрыва» в конце 80-х гг. XX-го века.⁸⁰ Дунай объединял немцев, западных славян, венгров, южных славян и затрагивал территорию восточных славян, преодолевая географические границы Центральной Европы и соединяя ее с Балканами и областью Средиземноморья. Одновременно с этим, однако, существенная часть Центральной Европы тяготела не к Дунаю, а к балтийскому и североморскому бассейну, так что само сердце Европы с этой точки зрения разделено Чешско-Моравской возвышенностью на две культурные области (ср. чешский и моравский фольклор, в особенности народную песню), не говоря уже о Северной Моравии и целой Силезии (в нынешней Чешской Республике и Польше). Деление культурных областей в соответствии с бассейнами морей и рек имеет смысл; о нем говорят и приверженцы так называемого евразийского направления. Транзитивный импульс центрально-европейского региона хорошо отражен и в колебаниях великоморавского правителя, который наконец избрал для миссии христианизации европейский юг, то есть бассейн Дуная. Центральная Евро-

⁸⁰ См. чешский перевод С. Magris: *Dunaj*. Praha 1992.

па, таким образом, напряжена с нескольких сторон этнически, культурно, географически, а религиозно, – и в то же время она представляет собой центр, особенно по отношению к восточным славянам. Белорусский ученый-гуманист и литератор Франциск Скорина (предпол. 1490 – предпол. 1551), который родился в Полоцке и умер, возможно, прямо в Праге, учился в Кракове, Падуе и Праге, где, начиная с 30-х гг. 16 века, служил ботаником королевского сада и где издал свой белорусский перевод Библии. «Русская тройка» (Шашкевич, Головацкий, Вагилевич), кружок украинских галицийских писателей и деятелей культуры, действовал на территории Австрии со своими центрами в Вене и Буде, издавая там свои сочинения; печатался кружок, однако, и в Праге, в *Журнале Чешского музея*. Значительная часть украинской и белорусской литературы была распределена между украинскими (Киев, Харьков, Полтава), русскими (Петербург, Москва) и центрально-европейскими (Будапешт, Вена, Краков, Прага) центрами – то же относится и к южным славянам, склоняющимся к Вене и Праге.

По вопросу центрально-европейского централизма, и соответственно самого понятия „*Mittleuropa*“, в наше время высказался Нестор мирового литературоведения, бывший пражанин Рене Веллек/Уэллек (1903-1995). В первом из трех своих разговоров с Петером Деметцом на страницах альманаха *Cross Currents* он говорит об этом понятии довольно скептически в том смысле, что само по себе оно подозрительно, ибо его придумал Фридрих Науманн во время войны в 1915 г. Оно было – по крайней мере, по мнению Веллека, – составной частью тогдашней немецкой военной пропаганды и вело к созданию центрально-европейской монархии, которая была бы обширнее Пруссии. Сама концепция, с его точки зрения, является достаточно смутной, т. к. неясны границы этого понятия, которое, скорее, лишь выражает ностальгическое настроение. Рассказав о своем отце, который в качестве австрийского чиновника переехал из Вены в Прагу для того, чтобы с восторгом поддержать новую Чехословацкую Республику, он отвечает на тот же вопрос снова. Петер Деметц несколько провокационно возвращается к нему, когда на жизненном примере самого Веллека (чешские и немецкие школы, Вена, Прага, противоречивые движения между востоком и западом, севером и югом) показывает, насколько он *mitteleuropäisch*. Веллек признает, что он среднеевропеец с отчетливым отношением к чешскому, немецкому и английскому языкам, но одновременно указывает, что старая *Mittleuropa*, какой она была при Австрии, невозможна уже и вследствие советского вторжения, начиная

с 1944 г. (разговор состоялся накануне колоссальных изменений в этом пространстве на рубеже 1989 г.). Оба участника дискуссии выражают скепсис по отношению к среднеевропеизму. Веллек в заключение утверждает, что между Люблянкой, Прагой, Триестом, Будапештом и Веной не возникает особой коммуникации; в то же время он придерживается того мнения, что эти места объединяет их подход к Западу. Между славянскими литературами (например, в период реализма) не возникает каких-то исключительных взаимоотношений: сходства тут есть потому, что на них одинаково влияли западные литературы. Веллек здесь несколько упустил из виду во многом доминантное влияние русского реализма (источником для него, правда, тоже были западноевропейские литературы): благодаря восприятию его импульсов славянское вдохновение связывалось с социальными аспектами и поэтикой.⁸¹

Феномен среднеевропеизма оказывается, таким образом, многократно разломлен и формирует сложную, прерывистую сеть; он не является ни строго гомогенным целым, ни целым по своему происхождению: он возникает только постепенно, через сложное переплетение и сживание различных культур. Одновременно это целое, географически и геополитически изменчивое: нельзя даже приблизительно обозначить его границы: к нему относятся Северная Италия, Венето, Ломбардия с Миланом, Трансильвания – а возможно, и Валахский регион; Саксония, Бавария – или же Пруссия, Белоруссия и Украина; или же только части их территории, когда-то присоединенные к Австрии; а является ли частью Центральной Европы Подкарпатская Русь и Буковина? Это целое с изменчивыми и подвижными географическими и культурными границами – и в то же время объединенное культурными центрами, каковыми являются Вена, Будапешт, Прага, Краков, может быть, Дрезден и Лейпциг. Окраинные, периферийные части региона были тут и там «взяты под крыло» других регионов.⁸²

Характерная расслоенность и разломленность среднеевропеизма часто приносила самые разные виды аксиологизации с позиции своих автономных и подчиненных частей, т. е. преимущественно национальных литератур, которые утилитарно редуцировали этот центризм – в особенности в экзистенциальные, судьбоносные моменты развития – до вопроса

⁸¹ Pospíšil I. – Zelenka M.: *René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky*. Brno 1996.

⁸² См. Pospíšil I.: *Střední Evropa a Slované*. Brno 2006.

исторического выбора культурной ориентации. В чешском пространстве сложность центрально-европейского центризма, вследствие историко-географических детерминант, была упрощена до проблематики чешско-немецких соотношений. Именно вышеупомянутый Рене Веллек/Уэллек уже в середине 20-х гг. полагал, что для развития этих отношений является определяющей не дихотомия «больших» и «малых» литературы и народа, а культурный уровень воспринимающей среды, наша позиция, живая отечественная традиция, способная позитивно трансформировать самые разные импульсы эпохи.

На явлении среднеевропеизма можно продемонстрировать многоуровневость культурных феноменов, их противоречивый характер. Среднеевропейизм противостоит западноевропейизму, или «немецкости», но, кроме того, и югу и востоку; в то же время он неминуемо содержит в себе все эти элементы. Он, таким образом, складывается из того, что сам как центр отрицает, против чего создает свои центры. Структурно он определяется перемещением особого значения на отдельные компоненты целого: здесь он противопоставляет славянский элемент усиливающемуся пангерманизму, здесь он добивается своего среднеевропеизма, немецкости, пражской немецкости и еврейства, противопоставленных растущему давлению славянского востока, показывая, что он хотя и тоже славянский, но не только; но притом все же славянский, т. е. западнославянский. Это перемещение, непрестанное внутреннее переустройство феномена среднеевропеизма – его дезинтегрирующее, слабое место. Однако такая шаткость, оказывающая разлагающее воздействие, одновременно является и его стабильностью: то, что непрочное и нечетко установлено, то, что не имеет определенной территориальной, этнической, идеологической формы, что подвижно и смутно, столь же сложно полностью и бесследно уничтожить. Дело в том, что отдельные компоненты центрально-европейского центризма не становятся альтернативными параллелями по отношению друг к другу: они дивергентно воздействуют друг на друга, но один не способен подавить другой. Несмотря на распад Австро-Венгрии, подунайской монархии, о которой так вдохновенно пишет К. Магрис, несмотря на возникновение преемственных государств, среди которых была и Чехословакия, феномен среднеевропеизма не перестал функционировать как стрелка на весах. Невозможно было полностью подавить феномен Австро-Венгрии, ставший – пусть и неудавшейся, насильственной и деформированной – попыткой конституирования неустойчиво стабильного, равновесного со-

стояния центрально-европейского центризма. Классическим примером является здесь культурный и литературный феномен центрально-европейского бидермейера, который как литературное направление, или течение, вообще был связан с проблематикой переходных эпох и который, кроме своего югонемецкого тыла, модифицировался в альтернативную стилевую тенденцию.

Феномен Центральной Европы, таким образом, после всех исторических перипетий проявляет себя скорее как духовное, чем реальное геополитическое пространство, как центр стечения разных культур и народов, как в определенном смысле интеграционное ядро, создающее важную промежуточную стадию в преодолении различных расщеплений на пути к сложному образу современной Европы.

Центральную Европу формировали не те только народы, что автохтонно жили здесь с некоторого времени, но и другие. Отношение Центральной Европы к России и русским относится к ключевым. В особенности отношение к среднеевропейским, т. е. западным, славянам был важный: поэтому здесь мы сосредоточимся именно на перипетиях чешско-русских отношений.⁸³

⁸³ См. разные наши, а также других авторов статьи, монографии и сборники по поводу проблематики Центральной Европы и чешско-русских культурных и литературных связей, отношений и судеб русских интеллектуалов в Чешских землях, на которые мы в этом тексте опираемся: I. Pospíšil: *Kulturní dialog a areálová studia (několik poznámek o spojitosti pojmů)*. *Dialog kultur III*. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004. Ústí nad Orlicí 2005, s. 17-24. I. Pospíšil (Brno), M. Moser (Wien), S. M. Newerkla (Wien): *Litteraria Humanitas XIII*. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2005. I. Pospíšil (Brno), M. Moser (Wien): *Comparative Cultural Studies in Central Europe*. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno 2004. I. Pospíšil (ed.): *Areál – sociální vědy – filologie*. Kabinet integrované žánrové typologie, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2002. I. Pospíšil (ed.): *Litteraria Humanitas XI*, Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Перекрестки культуры: Средняя Европа. MU, Brno 2002. I. Pospíšil, M. Zelenka (eds): *Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech*. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003. I. Pospíšil, M. Zelenka (eds): *Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět*. Brněnské texty k slovakistice VI. : Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU, Brno 2004. I. Pospíšil: *Areál a jeho vztahy*. In: „Novaja rusistika“, 2009, No. 2, s. 70-78. I. Pospíšil: *Slavistika na křižovatce*. Regiony, Brno 2003. I. Pospíšil: *Ареальные исследования: между Центральной Европой и Поссеуей*. In: *Kultura rosyjka w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi*. Pod redakcją Lidii Liburskiej. Wydawnictwo Uni-

В чешско-русских связях вообще, и литературных в особенности, наблюдается черта, которую мы могли бы с некоторой долей преувеличения назвать *Навliebe*: рецепция русской литературы возникает отнюдь не прямолинейно, а, наоборот, извилисто, часто нарочито антагонистически, в крайних позициях от восторга до критики и вплоть до сопротивления. Характерная для одной эпохи рецепция часто несоответствует установившейся позднее ценностной иерархии: иногда она отвечает русской рецепции того времени (издание Фаддея Булгарина в возрожденческой Богемии соответствует современному читательскому спросу на его произведения в России; то же касается и увлечения поэзией Евгения Евтушенко и т.п.), иногда – создает свою собственную шкалу ценностей, когда в самой России (СССР) иная аксиологическая шкала не могла или не смела сформироваться (еще большее в то время обожание А. Вознесенского, культ Марины Цветаевой, усиленный ее соотношением с Чехией, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Геннадия Айги и др.).

Определенную роль в чешской рецепции сыграл и регионализм в смысле специфики рецепции региона или университета. Так отличаются друг от друга Прага, Оломоуц, Брно, Острава или Градец Кралове, т. е. в способе восприятия русской литературы как объекта научного исследования, а скорее даже в предпочтениях и приоритетах исследуемого.

Главное сочинение Масарика *Россия и Европа*, которое является для нас основным источником информации, содержит русистику в широком смысле слова: собственно филологическая или, лучше сказать, литературно-критическая или литературоведческая русистика представлена преж-

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, с. 49-57. I. Pospíšil: *Literary History, Post-structuralism, Dilettantism, and Area Studies*. In: *Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe*. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006, с. 141-152. I. Pospíšil: *Literaturwissenschaftliche Technologie, Psychologie und Rezeptionsästhetik: die tschechische und slowakische Situation*. In: *Wissenschaft und Systemveränderung. Rezeptionsforschung in Ost und West – eine konvergente Entwicklung?* Herausgegeben von Wolfgang Adam, Holger Dainat, Gunter Schandera. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003. I. Pospíšil: *Pátrání po nové identitě. Rusistické a vztahové reflexe*. SvN Regiony, Středoevropské centrum slovanských studií, Brno 2008. I. Pospíšil: *Problema slavizmov i njegov kontekst*. „Primerjalna književnost“, december 2005, št. 2, с. 17-32. I. Pospíšil: *Rusistika a některé obecné problémy současné literární vědy*. In: *Актуальные проблемы обучения русскому языку*. Ed.: Simona Koryčánková. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno 2009, с. 118-124. I. Pospíšil: *Средняя Европа и литературоведческая славистика*. In: *Slavistika*, Knjiga IX (2005), Slavističko društvo Srbije, Beograd 2005, с. 35-53, и другие.

де всего в третьем томе, изданном на немецком языке в 1995 г., на чешском языке – на год позднее⁸⁴. Хотя мы будем учитывать русистику Масарика во всем объеме и в широком смысле слова, т. е. включая его русистские социологические и философские, или же историко-философские, размышления, опираться мы все же будем прежде всего на третий том, который изначально должен был быть ядром его *России и Европы*, а именно на исследование о Достоевском.

Чтобы понять Достоевского, которым он был очарован, Масарик погружается в глубокое и богатое по разработанным материалам изучение ключей к русской философии и общественному мышлению. Если мы посмотрим на первые два тома *России и Европы*, то увидим, что Масарик выбирает ключевые темы из русского развития по двум критериям: по тому, насколько притягивает его тот или иной округ, – это то, что он сам считает типично русским или отличающимся от привычных евроамериканских моделей (сам Достоевский, а также русская хроника или летописание, переходящее в историографию, категории русского монаха, т. е. тяготение к теократии, Владимир Соловьев, русский анархизм Бакунина и Кропоткина, а прежде всего – русская форма марксизма). Наряду с этим обозначивается и другой критерий, которым является собственная близость Масарика к исследуемым явлениям: это выявляет или эксплицитную позитивную оценку, или трезвый, предметный, углубленный интерес. Там, где Масарик эмоционален, речь идет или о притягивании, или об отталкивании; там, где он спокоен, рассудителен, симпатизирующий и уравновешенный в языковом и стилистическом отношении, – там чаще всего возникает глубокое увлечение в смысле близости собственным взглядам и представлениям. Так его заинтересовали, например, предположительно первый русский философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856), представитель революционно-демократического русского западничества Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848), Александр Герцен (Herzen, 1812-1870), некоторые славянофилы и западники, к примеру, Иван Киреевский (1806-1856), но в особенности его увлек своим дидактизмом и максималистским утопизмом Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889). Если в первых двух томах сочинения Масарик везде *de facto* выбирает

⁸⁴ См. об этом подробнее: I. Pospíšil: *T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce*, in: *Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Sborník příspěvků z V. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 19. listopadu 1997, Masarykovo muzeum, Hodonín 1998*, с. 5-13.

спокойный, повествующий тон, его оценки уже поставлены, то в последних двух частях третьего тома, включающих помимо исследования о Достоевском в объеме ста пятидесяти страниц также медальоны, он все-таки более субъективный и эмоциональный.

В фигуре Федора Михайловича Достоевского для Масарика сконцентрировалась не только проблема России и Европы, но и его собственная, внутренняя проблема, которая не переставала мучить его всю жизнь: Масарик был намного меньше, чем он сам обычно утверждал, объективистским, сдержанным социологом и историком философии; именно здесь за чертами зрелого ученого проступает эмоциональность мораванина, который преодолевает или, по крайней мере, старается преодолеть в себе эту эмоциональность, старается обуздать свои этически необузданные физиологические силы прочной философской позицией, создающей надличностную этику, как раз на ниве литературы вообще и русской литературы в особенности ведет свой бесконечный бой за характер своей личности. Именно Достоевский провоцирует его к тому, чтобы задавать вопросы, которые имеют значение для него самого, а следовательно, являются экзистенциальным выражением самого Т. Г. Масарика: там, где Масарик касается России и русской литературы, он затрагивает проблему человеческого существования, и его вопрошение носит экзистенциальный характер. Это в первую очередь проблема нигилизма и анархистского атеизма, жизненный скепсис, связь религии и нравственности, убийства и самоубийства, человечности и народности и национального характера. Многие из раздумий Масарика над Достоевским приобретают черты, которые сегодня становятся еще актуальнее, чем вчера. В качестве примера можно привести суггестивный пассаж о вере и утилитаризме: „Často jsem litoval při studiu Dostojevského, že jsem mu nemohl oznámit jednu drobnost ze svých amerických zkušeností a pozorování – to by tak bylo téma pro jeho Deník. Americká dáma ze starého puritánského rodu; když její děti odcházely do ciziny, přidávala jim tato protestantská matka do kufru samozřejmě jednu z rodinných biblí, ale právě tak nezapomínala přibalit klystýrovou stříkačku – hlava a srdce, ale také žaludek měly zůstat v pořádku; Read your Bible and keep your bowles open. A je to – náboženství? Tato americká matka, nezapomínající na hygienu, byla hluboce náboženská, požehnání pro rodinu a pro celé okolí; kde bylo třeba pomoci, pomáhala a spolupomáhala, její starostlivá a obětavá láska zachránila život nejednomu nemocnému doma i mimo domov; tato puritánka za celý život nepronesla lži a vychovala děti, které také po celý život nelhaly. Je to nábožen-

ství? Ano! Utilitarismus možno sloučit s náboženstvím. Starý zákon židům velice důkladně vštěpoval Jehovu, ale také nezapomínal na nejdrobnější pravidla o jídle a životosprávě; a Kristus dává příkázání lásky nejčastěji, když uzdravuje. Náboženství života, které hledá Dostojevskij, by se koneckonců snad také dostalo k medicíně a hygieně. Dostojevskij má smysl a porozumění jen pro víru založenou na zázracích – celá jeho povaha se vzpírá důsledně přiznat deterministický běh přírody a života a zařídit podle nich život; Dostojevskij chce mít stále překvapení a také sám stále překvapuje své čtenáře. Slovíčko „vdrug“ – náhle – je tak charakteristické pro Dostojevského a pro jeho psychologii! [...] Dostojevskij hledá v náboženství neochvějnou víru, imponuje mu ruský lid a zvláště žena z lidu, imponuje mu ruský rozkol silou své víry, imponuje mu pověra, v protestantství a v katolictví dovede spatřovat jen racionalismus. Imponuje mu víra silná, slepá, protože sám – již věřit nemůže⁸⁵. „Masaryka přitahuje na Dostojevském také jeho koncepcí všečlověka, koncepcí vyšší ideje a spojení národa, humanity a náboženství, současně se však léká šovinismu tohoto všečlověka, který hájí národní mesianismus: Masaryk viděl v národě jen mezietapu, která spěje k všelidství a demokracii. V povyšování vlastního správně uviděl slepou a nebezpečnou linii, a to jistě všude, ve všech národních mesianismech, současně však jeho kritika nebyla negativistická vůči kategorii národa jako takové: Masarykovo pojetí je více individualistické ve smyslu osobní odpovědnosti za sebe, a tudíž za národ a lidstvo: „Bojím se každého šovinismu a nevěřím, že člověk, který pozoruje a myslí, může dnes ještě považovat svůj národ za jediné vyvolené a vybraný. Nebude moci pokládat vůbec žádný národ za jediné vyvolené. Žádná sebeostřejší věcná kritika národního života nemůže být škodlivá! Dostojevskij by ovšem neměl porozumění pro Byrona a jeho zápas proti poměrům anglickým; nedovedl by pochopit Tomáše Paina, jeho práci pro Francii s Amerikou proti Anglii, nedovedl by porozumět Schopenhauerovi a jeho zlostmému pesimismu, který se obracel proti tehdejšímu Německu; ba ani Elizabeth Browningová a její Aurora Leighová, která nalézá v Anglii a v Itálii dvojí vlast, nebyla by mu srozumitelná. Je to zásluha velikých předchůdců Dostojevského, že vytvořili ‚usvědčující‘ literaturu; slepé vlastenectví škodí, jak krásně pověděl Čaadajev, ovšem Dostojevskij chtěl Čaadajeva za trest uzavřít do kláštera. [...] Ruský

⁸⁵ Masaryk T. G.: *Rusko a Evropa, díl III., část 2. a část 3.*, Ústav T. G. M., Praha 1996, c. 53-54, 55. Tamtéž, c. 118.

mesianismus Rusku nepřinesl dobrého ovoce. Šovinismus Dostojevského uvěřá ze slabosti.⁸⁶

Несмотря на то что Масарик хорошо знает произведения Достоевского и с художественной стороны, они однозначно служат ему в качестве материала для философских и социологических размышлений. Порой его русистика в самом деле скорее философична, хотя и здесь он тоже выражает двоякую точку зрения на русскую литературу: притягивание и отторжение, *odi et tamo*, *Naßliebe* – а его эмоциональность усиливается. В третью часть третьего тома *Rossii u Evropy*, названной *Titanismus nebo humanismus – Od Puškina ke Gorkému*, включены также части о Байроне и Мюссе: удивлен может быть лишь тот, кто не знает русскую литературу того времени, т. к. эти авторы, так же, как и некоторые другие, становились непосредственно составляющей русской культурной истории, ибо именно из них выростала великая русская литература периода романтизма и борющейся с романтизмом реалистической рефлексии.

Это собрание исследований позволяет еще глубже заглянуть в мастерскую русиста Масарика. Во вступительной части *Достоевский в русской и мировой литературе (Dostojevskij v literatuře ruské a světové)* он впервые отходит от Достоевского как философа истории и религии и пытается рассмотреть его как художника. Конечно, взгляд на искусство у Масарика является не взглядом на средства художественной выразительности или на эстетическое воздействие артефакта, а скорее на конгломерат влияний и линий развития: Достоевский, как кажется, больше всего обращается к Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Гончарову, Тургеневу и Толстому; анализ Байрона и Мюссе и здесь ограничен. Тем не менее, вместе с этим Масарик признает, что знаток русской литературы, вероятно, заметит, что он не подходит к Грибоедову, Некрасову, Салтыкову и Островскому. Он признает их важное значение и не хотел бы заменять свое рассуждение историей современной русской литературы как целого. Здесь заметен ясный ценностный подход, избранный Масариком: Салтыкова и Некрасова он ставит не слишком высоко и полагает, что в русской среде их значимость переоценивается. Наконец, Масарик делает самое интересное, меткое замечание: в связи с тем, что Достоевский знал произведения, посвященные так называемому нигилизму, авторами которых были Алексей Феофилактович Писемский (1821-1881) и Николай Семенович Лесков

⁸⁶ T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa, díl III., část 2. a část 3.*, Ústav T. G. M., Praha 1996, с. 118.

(1831-1895), Масарик в своем комментарии возвращается к творчеству Лескова – до той меры, в какой он соотносится с творчеством Достоевского. Например, он указывает на роман *Некуда* (1864), который либералы считали реакционным и даже доносительским, а консерваторы, наоборот, – слишком либеральным: как показали современные исследования, Лесков здесь описал и свои автобиографические впечатления убежденного радикала, ставшего впоследствии либералом и даже консерватором⁸⁷. Тут очевидна, по сути говоря, социологическая ориентация Масарика и социологическо-психологическо-философское суждение о литературе: художественно ценным ему представляется прежде всего то, что несет мысли, несет способ познания и видения человека и мира; куда меньше его занимает «искусство для искусства», т. е. технологический подход (рус. «прием»), сама по себе эстетически действенная сцена или изображение стиля жизни или нарративной стратегии. Лесков для него заслуживает внимания, главным образом, как колоритный изобразитель русского духовенства в романе *Соборяне* (1872; чешский перевод А. Г. Стина – собственно говоря, Алоиса Августина Врзала – *Duchovenstvo sborového chrámu* появился в 1903 г. и является пока первым и последним чешским переводом этого мирового произведения), а не как самобытный художник. Литературное искусство он рассматривал как проявление духовной жизни – поэтому его типология русской литературы направляется стремлением познать Россию и проникнуть к ее корням, а не познать русскую литературу как художественную цепь. Сегодня Лесков общепризнанно считается самобытным русским литературным типом; благодаря своим идеям, языку, стилю и жанровой структуре, он считается автором, который был феноменом не чисто русским, а европейским, связанным с Европой. Очевидно, что до написания этого труда Масарик не знал произведения Лескова, которые вышли в начале столетия в 36 томах (советское издание под редакцией бывшего формалиста Бориса Эйхенбаума вышло в 1956-1958 гг. в 11 томах). Между тем, здесь он нашел бы свои любимые протестантские темы, т. к. Лесков был очарован различными протестантскими сектами, включая квакеров, которые уже тогда влияли на русских, и ценил в них то же, что Масарик: практическую помощь ближнему, в кото-

⁸⁷ Подробнее об этом, вместе с ссылками на основную и дополнительную чешскую, русскую, западноевропейскую и американскую литературу, см. I. Pospíšil: *Proti proudu. Studie o N. S. Leskovovi*. Brno 1992.

рой заключается их вера в Бога, так же, как у той американской пуританки, которая отправляла детей в путь.

Наиболее всего Масарик выдает себя в частях о Декадансе или, как мы сказали бы сегодня, о модернизме. Его предшественником он считает (и справедливо) уже А. П. Чехова (1860-1904). Критически он относится к Леониду Андрееву; впрочем, таким же образом, с позиции нарратологии, к нему подходит и Мирослав Дрозда⁸⁸. Масарику не нравятся рационалистический расчет и аффектация Андреевских образов, и он не скрывает своего негодования: „Andrejevovu filozofickou slabost můžeme například pochopit na jeho Jidáši: nepřeháním, právě při této četbě jsem prožil druh duševní mořské nemoci – krásné lákavé téma, ale co z něho vzniklo! [...] Andrejev miluje také nepříjemné obrazy a miluje je i tam, kde ničím nemohou přispět k vyjasnění a vyvýšení pojmů – opět veliká slabost [...] Kosmický, psychický a morální chaos představuje u Andrejeva město a městský život; kultura a civilizace velkoměsta plodí tento chaos, rodina, společnost, měšťák dýší degenerací a dekadencí. Také apoštolové, kteří Ježíšovi nerozuměli, byli měšťáci...“⁸⁹.

Там, где Масарик сталкивается с крайними проявлениями интеллекта, со сконструированными идеями, которые небезопасны для человеческой целостности и причиняют человеку прямо-таки физиологическую боль („duševní mořská nemoc“), он всегда отступает и возвращается к своей моральной исходной точке, которая, по сути, утилитарна. Как он старается соединить утилитаризм с религией и в качестве образца приводит американское пуританство, которое он познал из собственного опыта, – точно так же он пытается применить утилитаризм и в литературе: то, что бесполезно для успешной жизни человека, он отбрасывает: обратим внимание, как часто он говорит о силе и слабости – под этим он подразумевает слабость художественную, но за ней неприкрыто проступает слабость и сила идейная и моральная: Андреев – как и Достоевский – предлагает больше решений и не избегает крайностей, а это бесполезно, приносит человеку мучения и вместо внутреннего очищения приводит его скорее в состояние хаоса и растерянности. Чистота и сила намного больше объединяет Масарика с Горьким, которого он ценит особенно в его ницшеанской фазе развития: гордый человек (русское слово «гордый» до 1917 года облагоуладало скорее негативным значением, вроде чешского слова „rušný“, „на-

⁸⁸ Drozda M.: *Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému. Kapitoly z historické poetiky*. Univerzita Karlova, Praha 1990.

⁸⁹ Masaryk T. G.: *Rusko a Evropa, II. díl*, Praha 1996, s. 331.

dutý“), родной брат Ивана Карамазова, должен был стать противоположностью Андреевских слабых интеллектуалов. Это, тем не менее, не исключает определенный вид теизма, который сам Масарик, в молодости колеблющийся, ищет и находит в чешской и мировой протестантской традиции, в то время как Горький создал для себя свое фейербаховское, антропологическое понимание богоискательства и богостроительства. Так что на первый взгляд перед нами предметность, утилитаризм, гордый и независимый человек, но за ними – тоска и упорный поиск духовного принципа, высшей идеи, Бога.

С этой точки зрения примечателен Масариков анализ Ивана Александровича Гончарова (1812-1891). Интересны уже сами пропорции его изложения: основное внимание уделяется его самому слабому в художественном отношении роману *Обрыв* (1869), ибо в нем Масарик находит больше всего показательного русского материала – это нигилисты, консерваторы, религия, современное естествознание, политические заговоры и, наконец, социоморфический, как он сам его называет, аргумент в пользу теизма, как его затем, вслед за Гончаровым, повторяет Достоевский в *Бесах*: вы не можете верить в Бога, если в полку вы не верили в полковника, в университете – в ректора, затем в губернатора и в полицию. Наиболее интересен в этом поиске положения равновесия, которое характерно для Масарика-эстетика, литературного критика и в узком смысле слова русиста, «первенец» Гончарова *Обыкновенная история* (1847, в чешском переводе – *Obyčejná historie* или *Všední příběh*). Из всего этого крупного иронического, сатирического, грустного и даже трагического вопрошания Масарик избирает для себя старческую интерпретацию Гончарова, от которой за версту отдает дидактизмом: тот якобы заставил своего героя основать завод ради преодоления русской пассивности, ибо русская лень – исток всех пороков. Однако Гончаров не столь поверхностно задумал свой роман; так же вяло звучит и краткая характеристика знаменитого романа *Обломов*. Масарик и здесь ищет в романе не столько одно искусство, сколько множество раз упомянутую «философию истории» – но Гончаров как русский неоклассицист является аналитиком человеческой жизни, человеческого бытия, а не философом истории. Если XVIII-й и XIX-й века в духе немецкой классической философии воспринимали искусство вообще и литературу в особенности как инструмент познания, то модернизм и весь XX-й век понимает их как выражение человеческого бытия, человеческого существования; именно такую позицию представляет в своем

творчестве Гончаров: течение времени, наполненная смыслом человеческая деятельность, сомнения в семейной жизни и химера любви – все это экзистенциальные вопросы, ответы на которые даются в романе или с позиций ориентального квиетизма, или западной, штольцевской трактовки производства и потребления, построение и достижение целей, смысл которых мы уже не понимаем.

Масарикова «реалистическая» идеология научной критики наталкивается именно в русской среде на целый ряд произведений, которые уже предвосхищают тягостные вопросы экзистенциализма, релятивизма и амбивалентности постмодернизма: Ф. М. Достоевский (1821-1881) и А. В. Сухо-во-Кобылин (1817-1903) – это русские Кафки до самого Кафки, Н. С. Лесков – экспериментальный прозаик задолго до Дж. Джойса, М. Пруста и В. Вульф, А. П. Чехов – крайний скептик до Анатоля Франса и Андрэ Жида... Так мы подходим к главному вопросу, а именно к какой парадигме развития приходит Масарик: в доминантном философском основании *Старая Европа – Новая Европа, Россия – Азия* просматривается двойная линия: хотя Масарик близок к духовным течениям, здесь он отдает предпочтение нозтическому направлению перед онтическим, реалистической литературе – перед спекулятивными исчислениями, литературе практики и познания – перед литературой контемплиативного существования. Подобным образом оба эти течения обнаруживал как в английской, так и в чешской литературе Рене Веллек/Уэллек (1903-1995) и за каждым из них признавал равные права. И в первую очередь он наблюдает уравнивание России с Западом и на этом поле, прослеживает, как рождается русский Руссо, Байрон, Гете, Бальзак, Гюго, и уже в меньшей степени задумывается, как это возможно, чтобы вечные имитаторы подошли к явлениям, скорее предугадывающим мировое литературное развитие, чем на протяжении столетий бредущим за ним, спотыкаясь. Проблема качественного русского переключения остается сегодня столь же актуальной, как и во времена Масарика: тогда взгляд на Россию был скорее критический, порой эмоционально-восторженный, позднее даже с обожанием, когда на эту литературу смотрели как на недостижимый образец. Кажется, что русская литература, которая является в своих положениях феноменом крайним, экстремальным (это доказывает и сегодняшний русский постмодернизм

или так называемая альтернативная литература⁹⁰), вызывает и экстремальные реакции. Их Масарик попытался избежать с помощью уклона к равновесию: тут его последователями стали, как уже было сказано выше, Карел Чапек и Вацлав Черный⁹¹.

В качестве иллюстрации русского внедрения в центр Европы и его сложных перипетий я сознательно выбрал личность Романа Jakobsona и его брненскую судьбу потому, что именно он как бы воплотил это проникновение первоначально чуждого элемента в среднеевропейскую литейную форму, казавшуюся слишком по-австро-венгерски закоснелой, негибкой, доведя ее до состояния понимания, прочувствования и созвучия, так что слова Jakobsona, произнесенные им в 1968 и 1969 гг. о том, что он чувствует себя чехом, вытекают из логики вещей и событий: от виллы Терезы, Пражского лингвистического кружка, самоубийства Маяковского, боя с брненской доцентурой и профессурой, бегства в Данию, Норвегию, Швецию и США – до мирового признания и славы. Впрочем, внедрение русских формалистов и их структуралистский период не касаются одного только Jakobsona: для Словакии, например, намного важнее фигура Петра Богатырева, для Брно значим традиционалистский медиевист Сергей Вилинский, так же как для Вены и Брно – Николай Дурново.⁹² Короче говоря, мы стоим перед проблемой русского межвоенного «нашествия» (в хоро-

⁹⁰ См Porter. R.: *Russia's Alternative Prose*. Berg, Oxford/Providence 1994. Skoro-panova I.: *Russkaja postmodernistskaja literatura*. Izdatel'stvo Flinta, izdatel'stvo Nauka, Moskva 1999. Nefagina G.: *Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch – načala 90-ch godov XX veka*. Minska 1998. Nefagina G.: *Dinamika stilevyh tečenij v russkoj proze 1980-90-ch godov*. Minsk 1998.

⁹¹ См. далее: I. Pospíšil: *Několik poznámek k Masarykovu pohledu na Rusko a ruskou literaturu* T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa* I.-III. Ústav T. G. Masaryka, Praha 1996. Svět literatury 1997, č. 14, s. 106-109. I. Pospíšil: *Václav Černý a ruská literatura*. Slavia 1994, 3, s. 331-337. I. Pospíšil: *"Stará" a "nová" komparatistika: pragmatismus a ruský maximalismus u Karla Čapka*. „Opera Slavica“ 1993, 1, s. 16-24. I. Pospíšil: *K voprosu ob otnošenii T. G. Masarika k russkoj literature*. In: *T. G. Masarik i Rossija. Razvernutyje tezisы dokladov meždunarodnoj naučnoj konferencii*. Institut "Otkrytoje obščestvo", Obščestvo brat'jev Čapek v Sankt-Peterburge, Sankt-Peterburgskaja Asociacija meždunarodnogo sotrudničestva, Sankt-Peterburgskaja Asociacija družej Čechii i Slovaki. Sankt-Peterburg 1997.

⁹² См. I. Pospíšil: *Razance a citlivost: K fenoménu Střední Evropy v meziválečném období (tři vybraná vota separata k brněnské habilitaci Romana Jakobsona)*. Slovensko-české vzťahy a súvislosti, zborník referátov a koreferátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 2000, с. 49-60, нем. вариант Rasanъ und Feingefühl: *Zum Phänomen Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit*. In: *Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen*. Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Перекрестки культуры: Средняя Европа. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2002, с. 265-278.

шем смысле этого слова) на Центральную Европу, ядром которой была межвоенная Чехословакия с тремя университетами в Праге, Брно и Братиславе, где между ними кипело персональное и идейное сотрудничество (Франк Воллман и его перемещения между Братиславой, Брно и Прагой, то же – Ян Мукаржовский, Альберт Пражак и т.п.). Это мирное и плодотворное нашествие, хотя и оно не протекало – как мы увидим – без насилия, является свидетельством не только того, что Россия имеет отношение к Европе, но еще и того, что Центральная Европа – это пространство, которое хотя и имеет свое территориальное и геополитическое ядро, но с точки зрения культуры является силовым полем, втягивающим в себя Запад и Восток; итак, вопрос не стоит таким образом, что Центральная Европа – это некий славный и бесславный пешеходный мост: вопрос и в том, что она была эпицентром истории и почему сегодня им не является или почему опять не могла бы им стать. Впрочем, это предполагает больше независимости, самобытности, выносливости и способности к гибкой стойкости, т. к. это культурное пространство дразнит как Восток, так и Запад (этой проблемой я занимаюсь в рамках другой своей работы).

Три брненских *vota separata* были избраны мною потому, что они представляют не только ли не идиллический, но наоборот конфликтный и неприятный эпизод из жизни Романа Якобсона, а поскольку о них было известно, то о них и писалось. Здесь я отталкиваюсь от компетентного исследования проф. Дануше Кшицовой и ее дипломантов, а также Милоша Зеленки в 90-х гг., который неоднократно описывал и анализировал данный эпизод. Мой взгляд, в сущности исходящий из тех же материалов, является в какой-то степени иным, не будучи в отношении предшествующих точек зрения полемическим: речь идет лишь о смещении акцентов и даже скорее об иной «установке» исследования – в большей степени реферативно, чем рефлексивно, скорее с позиций Якобсона, его жизненного пути и методологии его и Пражского лингвистического кружка, и в меньшей степени – с точки зрения принимающей среды. Я выбираю эту тему и потому, что развитие так называемого пражского структурализма и его корифеев – затронувшее всю тогдашнюю Чехословакию, как сегодня показывают новейшие исследования некоторых младших коллег нитранской школы, – было скорее противоречивым, а иногда и достаточно извилистым; и если мы говорим о структурализме как о чешском и чехословацком «фамильном серебре», то нельзя умолчать и об этих перипетиях.

Жизненный путь Романа Якобсона на территории межвоенной Чехословакии не был легким, хотя сегодня он сознательно идеализируется. Он проходил буквально между жерновами событий, таких, как: неудача в попытке добиться пражской профессуры; переговоры по поводу поста профессора по договору в Брно; звание доцента и его подводные камни; исключительная профессура; попытка стать представителем штатной профессуры; снятие с должности заведующего Семинаром славянской филологии и *de facto* бессрочная пенсия по причине существовавшего тогда расового законодательства Третьего Рейха; после окончания Второй мировой войны – расторжение трудовых отношений с юридически законным, но по сути политическим подтекстом; наконец, после долгих лет – почетная докторантура в брненском Университете Яна Евангелиста Пуркине. Курьез заключается в том, что кое-где одни и те же люди действовали прямо противоположно: например, Франтишек Травничек присвоил Якобсону звание доцента и контрассигнировал положительный отзыв о защите, а потом в качестве ректора подписался под отставкой Якобсона – хотя тогда в самом деле не было иного выхода. С удивительными перипетиями в 40 – 90-х гг. столкнулись и другие действующие лица, которые так или иначе стали частью брненской судьбы Якобсона. И необходимо осознать, что здесь начиная с 30-х лет существовал сильный политический фон, который у нас всегда и порой полностью определяет жизнь людей. Я бы сказал, что чешская судьба Якобсона, с годами изъятая из бури гнева, видится, скажем так, идиллически, и кажется, что так ее понимал и сам Якобсон, т. е. с американской высоты и расстояния. Тем не менее, реальные события, в которых отражается атмосфера времени или времен, демонстрируют как специфику центрально-европейского пространства в роли идеологического и методологического перекрестка, так и специфику вхождения других элементов и острую реакцию. По этой причине история Якобсона трансцендирует в более общие масштабы, которые могут быть важны для познания этого культурного пространства уже потому, что они могут повторяться или варьироваться. Более существенно то, как была попытка защиты Якобсона в Брно принята университетским сообществом и в чем заключается фактическое ядро упомянутых отдельных мнений.

Прежде всего перед нами – если взглянуть хронологически – предложение об учреждении профессуры по русской филологии и о назначении доктора философии Романа Якобсона профессором русской филологии по договору: машинопись, которая нам предоставлена Архивом Универ-

ситета им. Масарика, переполнена опечатками и прочими ошибками. Вообще здесь обосновывается, почему такая профессура на договорной основе необходима; причины вызывают улыбку, т. к. их стратегия напоминает сегодняшнюю: они не только научные, но, главное, непосредственно практические. Цитирую: „O vědecké potřebě a vědecké samostatnosti ruské filologie nelze vůbec pochybovati. Potřeba filologií jednotlivých národních celků – vedle filologií kmenových skupin – je obecně uznávána; tím spíše je pak oprávněno samostatné filologické bádání a jeho tradování při tak významném kulturně i hospodářsky národním celku, jako je ruský, podobně jako se odděluje z germánské filologie bádání o anglickém jazyce a literatuře, z románské o jazyce a literatuře italské. A filologické obory týkající se národního celku ruského se osamostatnily – třebaže v rámci slavistiky – záhy ve vývoji slovanské filologie jednak pro zvláštní postavení kulturního vývoje ruského odlišného od celkem jednotného vývoje západního a pro úzké linguistické a etnografické vztahy k národům neslovanským, ba i neindoevropským obývajícím v době minulé i přítomné na území říše ruské, jednak pro významnou a rozsáhlou badatelskou práci vykonanou na Rusi v těchto oborech“⁹³. Так, конечно, можно, выделить из славистики все югославянские языки и литературы, и далее: здесь перед нами в зародыше первоначала русистской сепарации; она не была вызвана одними лишь послевоенными политическими мотивами – она подготавливалась в лоне славистики задолго до этого. Цитируем далее: „Na naší fakultě (читай: на философском факультете Университета им. Масарика в Брно – И. П.) jest však tohoto oboru také konkretně potřeba, a to nejen z důvodů vědeckých, nýbrž i z praktických. Na filosofické fakultě Masarykovy univerzity jsou zastoupeny věci ruské jen ruskými přednáškami o ruské literatuře, které má S. Vilinskij, smluvní profesor ruské literatury; ruská literatura si tohoto samostatného zastoupení plně zaslouží, nelze však nadále prodlužovati ten stav, že se na naší fakultě vůbec nepřednáší o jazyce ruském. Sbor profesorský se snažil tento závažný nedostatek odstraniti od počátku roku 1925 svými jednomyslnými návrhy ze 7. února 1925 a zvláště ze 7. prosince 1926 na zřízení smluvní profesury ruského jazyka a na její obsazení profesorem N. N. Durnovo, z čehož tehdy sešlo odchodem Durnovovým do SSSR (do Minska). V návrhu jednomyslně přijatém na schůzi sboru 7. prosince 1926 bylo podrobně odůvodněno, proč je nutně potřeba poznání vývoje ruského jazyka pro každé vědecké studium jazyka českého a zvláště jeho východních nářečí i pro přípravu kan-

⁹³ Здесь и далее цитирую материалы Романа Якобсона, хранящиеся в Архиве Университета им. Т. Масарика в Брне.

didátů češtiny pro střední školy, a dále povinnost důkladného vědeckého poznávání ruštiny plynoucího z přiřazení Podkarpatské Rusi. Po praktické stránce je pak nejen pro školství Podkarpatské Rusi, nýbrž i pro naše střední školy nutně potřeba, aby filosofická fakulta byla schopna vychovávat kandidáty ruštiny, kterých je potřeba pro střední školy obchodní i pro povinnou ruštinu na ref. reál. gymnasiích“. Специальность русской филологии, а вовсе не русский язык, обоснована своими широкими рамками, т. е. изучением языка – но также и культуры, этнографии и т.п. Следующий аргумент заключается в том, что нас не должны обогнать другие неславянские народы; и, наконец, в данной «кадровой» ситуации неизбежно, чтобы кандидатом договорной профессуры был иностранец, русский. Далее следует curriculum vitae Якобсона и оценка его научной работы. На проекте поставили свои подписи профессора Гавранек, Травничек и Соучек.

Ядро проекта как две капли воды похоже на отзыв на доцентскую диссертацию и прочую существующую научную деятельность доктора Романа Якобсона, который на этот раз его поддержали профессора Гавранек, Травничек и Воллман. Отзыв о поданной диссертации, однако, насчитывает на неполных полторы страницы больше, чем шестистраничный отзыв. Первая часть включает в себя краткое резюме с описанием чешского анабазиса Якобсона, в том числе вынесения его кандидатуры на пост профессора по договору; далее выделена его первая работа, т. е. рецензия на карты русских диалектов, труд о поэтике и метрике, из которых вытекает – как это показано Зелинским, Виноградовым и Томашевским – что эти работы Якобсона являются основными трудами русской формальной школы; затем, среди них названы работы по чешской литературе, а конкретно – *Základy českého verše* (1926), где допускается негативный критический отклик, и исследование *Vliv revoluce na ruský jazyk* (1921) с критикой А. Мазона. Собственно диссертация *Remarques sur l'évolution phonologique du russe*, которая вышла в серии *Travaux du CLP*, считается успешной, хотя отзыв на нее показывает, как сами авторы «боролись» с формулировками: первоначальную критическую часть они предпочли вычеркнуть, причем давили на то, что Якобсон, собственно говоря, использует результаты Трубецкого. Весь отрывок в конце концов звучит следующим образом (вычеркнутые позднее части приведены в скобках): „S některými jeho názory členové komise nesouhlasí (např. s tradováním Fortunatovova předpokladu o labialisovaných vokálech v praslovanštině, fonémy k', g', x' jsou spíše varianty kombinatorní mimofonologické, správně sice zdůraznil význam akustické

stránky, ale přecenil je), také některé výklady teoretické v pozdějších spisech formuloval přesněji sám autor (nebo Trubeckoj, na př. korelace intensity sám autor v Travaux du CLP 4, str., Trubeckoj zavádí ponětí bez příznakové řady, kterého pak Jakobson užívá.) Ale tento nesouhlas v jednotlivostech nebo další vývoj bádání nesnižují pozitivní badatelskou cenu této práce Jakobsonovy. Tato práce, třebaže postup její byl připraven ve faktech vynikajícími pracemi Šachmatovovými a Durnovovými a v teorii prací Trubeckého, znamená vážné (первоначально: čestné – И. П.) jejich pokračování a obohacuje podstatně i ruskou linguistiku i teoretické bádání o jazyku“ (исправлены многочисленные опечатки – И. П.). Далее здесь перечеркнуты имена докладывающих об этой работе, и негативная критика Мазона прокомментирована так, что свои замечания он не подкрепил ни единым конкретным примером. В заключение комиссия посчитала данную работу полностью удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к диссертации на звание доцента.

Из всей структуры отзыва становится очевидно, что тут скорее, нежели фонологический труд Якобсона, принимается во внимание целый комплекс разнообразных текстов, часто выходящих за пределы лингвистики в направлении к стиховедению и поэтике.

Из профессорского хора затем прозвучали три негативных высказывания, так называемые *votum separatum*. Первое из них представил профессор английской филологии Франтишек Худоба (1878-1941), сконцентрировавшийся на разборе взглядов Якобсона из статьи *O dnešním brusičství českém*, который потом вышел в книге *Spisovná čeština a jazyková kultura* (1932). *Votum separatum* Худобы часто отбрасывается как проявление старомодности, консерватизма, национализма и ксенофобии, но все-таки обратим внимание – *sine ira et studio* – на его смысловое ядро. Худоба, в первую очередь, озадачен тем фактом, что Якобсон как «иностранец, только-только научившийся говорить по-чешски» (“*cizinec, který se teprve nedávno naučil mluvit česky*”), высказывается по поводу современного чешского языка и «обескураживает своей неуместной резкостью, а иногда и скрытой насмешкой» („*zaráží svou nemístnou příkrostití a někdy i zastřeným posměchem*“). Автор, которому принадлежит *votum*, указывает прежде всего на волюнтаризм Якобсона: Йозефа Зубатого, некогда главного редактора журнала *Naše řeč*, тот называет «гениальным художником на ниве чешской филологии» (“*geniálním umělcem na poli české filologie*“), но «его очищающее творчество он подрывает и приводит к несерьезности» („*jeho očištné dílo podřívá a uvádí v nevážnost*“). Следующие страницы своего *votuma*

Худоба посвящает тому, чтобы продемонстрировать стремление Зубатого к чистоте чешского языка. Одновременно он опровергает высказывания Якобсона о том, что так называемое «онемечивание» чешского языка является одной лишь демонстрацией, националистической политикой, для которой более подходящим определением был бы расизм. Худоба отвергает такое обозначение, а с ним и то, что с призраком германизации покончено. „Dr. Jakobson, který je naprostý cizinec, česky se sotva naučil a českého jazykového citu mít nemůže a nemá, jak ukazují některé jeho práce, jichž neupravoval český odborník jako jeho stať *O dnešním brusičství českém* (prof. B. Navránek), zapomíná, že my Čechové nejsme jenom Němci mluvící česky a že nám nemůže být jedno, je-li naše řeč bídnou hatmatilkou česko-německou, jak nedávno prof. Trávníček nazval chatrnou češtinu některých našich přírodovědců. Zapomíná také, že není jeho právem ani úkolem vměšovat se takovýmto způsobem do našich snah po očistě a vytríbení naší řeči mateřské. Takového vměšování by nesnesl žádný vzdělaný národ, který jako národ za něco stojí, ani kdyby smělý cizinec znal jeho řeč mnohem důkladněji, nežli jak Dr. Jakobson zná česky, a své názory mu vnucoval příjemnějším způsobem, nežli činí on“.

Вслед за тем Худоба указывает на неточности и взаимоотрицающие утверждения в критике Якобсона в отношении редактора журнала *Naše řeč*, Йиржи Галлера. Если обобщить суть *votum separatum* Худобы, то мы придем к выводу, что автор с моральной и профессиональной точки зрения лишает Якобсона права компетентно высказываться по поводу чешской языковой политики, что он сомневается в бесспорности его научного метода (в сущности, он упрекает его в волюнтаризме, манипулировании цитатами, в аргументационной непоследовательности) и ловко приплетает сюда профессоров, бывших членами научного совета, и ставит их *via facti* в позицию против Якобсона (Травничек, Гавранек как чешский корректор работ Якобсона) или же неявно сомневается в их беспристрастности – хотя и не говорит об этом прямо. Вотум завершается, разумеется, протестом против утверждения проекта (вотум датирован 24-м января 1933 г.).

К вотуму Худобы присоединяется вотум профессора германистики Антонина Беера (1881-1950) от того же дня. Он в свою очередь отмечает модность лингвистической терминологии Якобсона, то, что некоторые труды тот знает лишь «из вторых рук», а притом критикует их, не зная их истоков (например, у младограмматиков). На обоих авторов вотума произвело плохое впечатление и то, что Якобсон пишет в Праге по-немецки,

хотя сам считает себя русским, что вышеупомянутую аспирантуру он закончил в немецком пражском университете, защитив написанную по-немецки работу о десятерце, а также и то, что он работает в редакции немецкого издания *Slavische Rundschau*. Беер доводит до логического конца негодование Худобы по поводу того, что онемечивание чешского языка Якобсон называет расизмом (в иных случаях он говорит о фашизме в языковедении) и иронически «гасит»: „Abychom si uvedené výroky p. Dra Jakobsona prakticky uvědomili, je to s nimi takhle. Náš nejpřednější znalec jazyka českého F. Trávníček, vytýkaje v češtině p. Dra Jakobsona výrazy jako ‚neodvisle od toho, familiérní, bezprostředně, velkotovárna, přirozeně‘ (Listy fil. 49, 246), dopustil se tedy demonstrace, dělal jazykovou politiku, podporoval rasismus; a vytýkaje chyb ‚jich význam‘ ‚Otci a děti Turgeněva‘, ‚dle terminologie Fortunatova‘ zapomněl podle p. Dr. Jakobsona, že ‚proti malé gramotnosti nelze bojovati mechanickými seznamy chyb,‘ že ‚výčet takových chyb je úkolem korektora, nikoli odborného časopisu‘ (str. 88). A vytýkaje germanismy zapomněl, že podle p. Dra Jakobsona ‚musí podat důkaz, že svým fonologickým nebo gramatickým složením, odporují strukturním zákonům současné češtiny.‘ Беер затем напоминает, что Якобсон непрямо назвал Франтишека Таборского «врагом современной культуры вообще» („nepřítelé moderní kultury vůbec“), и обращается к яacobсоновской статье в журнале *Čin* (1930) *Romantické všeslovanství – nová slavistika*. Но он говорит не столько о содержании, сколько о тоне (Якобсон в своей статье высмеивает общеславянскую романтику, ура-патриотизм, причем буквально описывает, сам того не осознавая, собственную дальнейшую судьбу; этого, конечно, не знал тогда и полемизирующий с ним Беер): „..pro hejslovanskou rhetoriku nezůstávalo místa už ani v pozdravných a banketových řečech, ledaže v pozdravu nějakého zástupce slavistiky z Kalifornie“ (таковым мог бы быть через несколько лет и он сам – И. П.).

А далее Беер сурово и, думается, небезосновательно, нападает: „Ale vím o jiném projevu, který byl pronesen zástupcem ‚nového slovanství‘, jenž hlásal, že filologii je třeba pěstovat v duchu leninsko-marxistickém; že se nikdo neozval, přičteme patrně zásadám pohostinství, mlčelo se z útrpnosti nad ‚novým životem osvobozeného národa‘ a z ohledu na poměr ‚svobodného vědce k jeho vládě.‘ Víme, že se tisk praslovanské mluvnice nezakazuje a nepřerušuje v Kalifornii, nýbrž v jiné zemi. Ozve se dr. Jakobson proti této skutečnosti ‚nového slovanství‘ aspoň tak jako mentoruje u nás? Kde by se octl – ne v Kalifornii, ale v té jiné zemi – muž, jenž by proti tomu a jiným ještě věcemrazil hesla ‚demon-

strace', ‚rasismus', ‚boj proti kultuře vůbec'? Kde by se octl, neřeknu. Ale u nás je v habilitačním řízení".

Третий votum separatum подписал классический филолог Франтишек Новотный (1881-1964), обратившийся к научному совету с просьбой установить гражданство доктора Романа Якобсона. Уже во вступлении читаем: „Dr. Jakobson je státním příslušníkem SSSR. Mimořádné poměry, které nastaly v Rusku po revoluci, zasáhly několika různými způsoby do života ruské inteligence a zejména ruských učenců. Z těch, kteří zůstali v Rusku, žije část ve větší nebo menší svobodě podle toho, jakou měrou se přizpůsobili k programu vládnoucí strany; mnozí byli zastřeleni, jiní jsou vězněni. Z těch, kteří žijí mimo Rusko, byli někteří z Ruska vypovězeni, většinou však odešli do emigrace dobrovolně, aby unikli nové moci. Dr. Jakobson nenáleží k žádné z těchto uvedených kategorií. Žije už léta mimo hranice svého státu, ale není ani exulant ani emigrant“. После этого фактографического введения с амбивалентным подтекстом следует процедурально самое важное, т. к., хотя порядок защиты диссертации этого прямо не содержит, „mezi naším státem a SSSR není vzájemnosti v takových věcech, jako je studium a učitelská činnost. Nelze si představit případ, že by člen našeho čl.moskevského zastupitelstva byl na svou žádost připuštěn za docenta na některou universitu sovětského Ruska, a to jedině po prozkoumání své vědecké způsobilosti“. Этими вескими аргументами Новотный завершает третий, а для нас последний, votum separatum с тем же негативным заключением.

Текст профессора Ф. Новотного приводит нас к биографическим сведениям о Р. Якобсоне, например, в той форме, в какой они указываются в уже цитированном выше заключении о защите. Из этого следует, что 10-го июля 1920 г. Р. Якобсон приехал в Прагу „jako spolupracovník sovětské misse Červeného kříže“ (как сотрудник советской миссии Красного креста; очевидно, здесь имеет место плохой перевод с русского языка: вместо „spolupracovník“ здесь должно было бы быть „pracovník“, рус. «сотрудник»); в октябре 1921 г. он уезжает оттуда, в 1920/21 учебном году, с позволения соответствующих профессоров прослушивает лекции в Карловом университете (Гуйер, Травничек); в конце 1921 г. он стал референтом советской миссии, где пробыл до 1. 11. 1928, когда был освобожден от службы. 9-го апреля в пражском немецком университете он был провозглашен доктором философии на основании диссертации *Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilber*. То, что предшествовало пребыванию в ЧСР, изложено ранее (т. е. классическая гимназия, обучение на историко-фило-

логическом факультете Московского университета и т.д.). С учетом этих обстоятельств, моральные и технические процедуральные претензии, высказанные в каждом из трех *votum separatum*, не кажутся абсолютно необоснованными. Также известно, что развитие Романа Якобсона от упомянутой точки зрения к концепции евразийства, как показывает переписка с Трубецким, а далее к критике советского режима, было в США в период маккартизма проблематичным, и Якобсон неединожды был вынужден выражать свое критическое отношение к СССР.

Брненское резюме Якобсона продолжается деловым письмом из Министерства образования и народного просвещения от 23. 5. 1939, которое отправляет Якобсона в бессрочный отпуск в конце марта месяца 1939 г.; одновременно с этим его отстраняют от должности руководителя Семинара славянской филологии. В конце июня 1939 краевому ведомству в Брно было велено приостановить выплату служебного заработка и ассигновать от 1-е июля 1939 г. законную компенсацию в размере последнего жалования, «с условием Вашего постоянного пребывания на территории Протектората Чехии и Моравии». Якобсон в то время на этой территории уже не находился.

Следующим шагом стали три документа. В первом из них, с печатью от 5. 6. 1950, идет речь о протоколе обсуждения факультетской комиссии, которая на своем очередном заседании 31. 5. 1950 предложила академическому сенату отменить исключительную профессию Якобсона (членами комиссии были профессора и один ассистент, среди них – профессора Франк Воллман и Йозеф Курц). Ректорат впоследствии обратился к Министерству образования, культуры и науки с предписанием от 29. 1. 1951 об отмене декрета, т. к., цитирую: „Jmenovaný se zdržuje od dubna 1939 mimo území ČSR, od osvobození v r. 1945 nekoná své povinnosti jako profesor filozofické fakulty a působí na universitě v New Yorku, porušil tedy hrubě své pracovní a občanské povinnosti“. Здесь политическая подоплека заострена, хотя и очевидно, какие «гражданские обязанности» нарушил Якобсон. Министерство образования, культуры и науки в предписании от 26. 2. 1951, которое за министра подписал доктор Валоух, уже сообщает, что „jmenovaný profesor opustil svémocně svoji službu a nevykonává od května 1945 svou učitelskou činnost ani ostatní povinnosti plynoucí z jeho ustanovení mimořádným profesorem. Kromě toho prokázal svůj nepřátelský postoj proti lidově-demokratické republice ČSR, československému lidu a lidově-demokratické vládě tím, že se z New Yorku do vlasti nevrátil, ač byl povinen tak učiniti ihned

po osvobození v květnu 1945. Tím se provinil hrubým porušením svých povinností stavovských a pracovních i povinností občana lidově-demokratického státu“. (исправлено правописание, устранены ошеломляющие ошибки – И. П.). Финальным аккордом становится провозглашение Якобсона почетным доктором брненского Университета Я. Е. Пуркине, словно обрамленное введением советских танков в августе 1968 г. и прославленным пражским выступлением Якобсона в 1969 г. Тем не менее, текст проекта, который тогда подписали Арношт Лампрехт как заведующий кафедрой чешского языка, славянского, индоевропейского и общего языкознания, и ректор проф. Теодор Мартинец, и где в качестве аргумента приводится то, что Якобсон «присоединился к прогрессивному крылу и в борьбе за новочешскую литературную норму в тридцатые годы» („zapojil na progresivním křídle i do bojů o novočeskou spisovnou normu ve třicátých letech“), свидетельствует по меньшей мере о сложности жизненного пути Якобсона, его мнений, методологии и отношения к чешским масштабам, а также о разном идеологическом контексте и «установке» его труда.

Однако еще существеннее то, что «дело Якобсона» в брненских 30-х гг. обнажает всю сложность и противоречивость литейной формы Центральной Европы, ядром которой была межвоенная Чехословакия: оно демонстрирует формирование филологических методологий и их оборотных сторон. Формалистские, отечественные чешские формистские и немецкие корни структурализма на нашей почве сталкивались с иными традициями, в том числе с позитивистскими и духоведческими, временами и с религиозными и даже непосредственно католическими. По сути, они вносили в другую культурную и научную среду еще и австро-венгерское движение, научную общность (русское «кружковство»), но во многом также нетерпимость, излишнюю и поверхностную полемичность, журнализм и поспешность выводов, которые не всегда были подкреплены фактическим материалом, а иногда и манипулирование аргументами и политизацию. Кроме того они нечутко вступили в ту среду, где еще слышались последние отзвуки чешско-немецкой политической, культурной и языковой борьбы: в какой-то степени в случае Якобсона здесь отражается позиция представителя великого народа, языку которого ничто не угрожает; а что касается недостаточного сочувствия, то его больше проявлял Рене Веллек (1903-1995): хотя и он был критиком близорукого чешского национализма, но у него как у мультилингвального жителя Вены, по сути, выходца из чешской семьи высокого императорского чиновника, этот во-

прос рождал больше чувств; тем не менее, и он прослушал курс германистики не только в чешском пражском университете, но и в немецком, и неединожды был обвинен – и по праву – в слабом владении чешским языком (впрочем, его плохо знал в молодости и будущий президент Масарик, о чем свидетельствует его любовная переписка) и непатриотичности.

Эти факторы в дальнейшем сыграли свою роль в последующем развитии Пражского лингвистического кружка с его склонностью к доктринерству, с его осуждением и нетерпимостью к другим подходам; в ряде случаев эти споры имели не только методологическую подоплеку, но и поколенческий, личностный и остро политический характер. С одной стороны, таким образом, Якобсон привнес в чешскую филологию здоровый импульс, дискуссию, полемику, бесспорные научные ценности; с другой стороны, он проявил недостаточное вчувствование в автохтонное центрально-европейское, чешское и чехо-словацкое развитие. Хотя и можно сказать, что без определенной пробивной силы невозможно было бы вот так изменить масштабы в языкознании, стиховедении и поэтике, т. к. Якобсон перенес из революционной России революционность и коллективность и в науку, но с другой стороны, остается открытым вопрос, не были ли этим доминированием подавлены или отброшены на задний план некоторые отечественные течения, которые, например, лучше понимал младший на одно поколение Рене Веллек/Уэллек: об этом свидетельствуют и его попытки прийти к методологическому компромиссу, его увлеченность неоидализмом и психологией и интеграцией феноменологии; как показывает механистичность дихотомии *intrinsic – extrinsic* в его совместной с Уорреном теории литературы: ядро литературоведения является имманентным, структуралистским, а окружающая «плазма» – иной, относительной.

РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ (Ф. КАУТМАН – О. ФИЛИП – Й. ЗОГАТА – М. ВИВЕГ)

Среднеевропейский территориальный комплекс с изменчивой позицией культурных центров и периферий, также со специфическим переплетением национальностей, культур и религий вынужден признавать культурную разнородность и критиковать узкий этноцентрический принцип. На территории Средней Европы давным-давно бытовал мультикультурализм еще до мультикультурализма.

Итальянский германист Клаудио Магрис в своей книге *Дунай* (*Danubio*), написанной накануне большого переворота в конце 80-х годов XX века, подчеркивает именно культурное значение упомянутой реки как связующего звена Средней Европы. Дунай объединял немцев, западных славян, венгров, южных славян, касался и территории восточных славян, связывал территорию Средней Европы с Балканами и средиземноморской зоной. Однако существенная часть Средней Европы тяготела не к Дунаю, а к Балтийскому и Северному морю, так что само сердце Европы – Чешские земли – распадается с геологической точки зрения именно на территории Брно на две противоположные части. Ареал Средней Европы, однако, становился и культурной целью, притягивая разные феномены с востока, севера, юга и запада. Белорусский ученый Францыск Скарына (около 1490 – 1551), который родился в Полоцке и скончался, вероятно, в Праге, учился в университетах Польши, Италии и Чехии: именно в Праге он издал свой перевод библии под названием „Бивлия руска“. Украинские литераторы из Галиции публиковали свои сборники и отдельные произведения не только в Российской Империи (Киев, Харьков, Полтава), но и в Средней Европе (Буда, Вена, Краков, Прага). Мультикультурным центром и для славян была Вена: межвоенный интеллектуальный и культурный треугольник Прага – Брно – Вена стал важным и для русских ученых-эмигрантов (Н. Дурново, Р. Якобсон, Н. Трубецкой). Средняя Европа формировала и словенца Матия Мурко, который был тесно связан с немецкой культурой, и венского уроженца Рене Уэллека, позже известного американского литературоведа и компаративиста.

Вместе с развитием особой культурной, духовной атмосферы на территории Средней (Центральной Европы) образовалась и особая литература, связанная с ее судьбами, насыщенная специфическими приемами, темами, мотивами, персонажами и проблемами. Именно особая культурная атмосфера Средней Европы способствовала формированию личностей, особо чувствительных к разным менталитетам и манифестациям мультинациональных и мультикультурных начал. Однако ареал Средней Европы не был сложным только с ментальной и культурной точек зрения; огромные политические сдвиги XX века повлекли за собой испытания характеров и трагедии человеческих судеб. Общественные катаклизмы и последствия революционных переворотов воздействовали на ареал Средней Европы прежде всего в межвоенный и послевоенный периоды.

Эмблемой такой сложной средневропейской судьбы является Франтишек Каутман (родился в 1927 г.), журналист, редактор издательства, литературовед и литературный критик, издатель, поэт, переводчик и прозаик, деятель культуры, который подписал известный документ чехословацкого диссента Хартия 77, член *Dostoyevsky Society*, член Общества Ф. Кс. Шальды, основатель и секретарь Клуба освобожденного самиздата. Доминантной чертой его художественных и философских размышлений являются экзистенциальные проблемы человека под давлением истории, одиночество и тревога.

Ф. Каутману всегда свойственна оригинальность, чувствительность и скепсис: он обнаруживает неожиданные аспекты творчества С. К. Нейманна, своеобразно анализирует Ф. Достоевского, Ф. Кафку и Э. Гостовского, Т. Масарика, Ф. Шальду, Я. Паточку, демонстрируя чехам импульсы литературной критики русских революционных демократов и применяемую в литературоведении герменевтику (в статье *Герменевтика и интерпретация*, 1969 г., опубликовано 1996 г.).

В творчестве Ф. Каутмана бросается в глаза еврейская тема, трактуемая в качестве подспудного течения средневропейской судьбы: автор – иногда парадоксально – излагает на примерах еврейских писателей особую, обобщенную эмблему экзистенциального отчуждения XX века (Кафка, Гостовский) как странное воплощение идей-предостережений Ф. М. Достоевского. Хотя художественное творчество Ф. Каутмана не содержит выразительных еврейских мотивов, доминантные темы греха и искупления, испытаний совести, межпоколенческих барьеров, кризисов коммуникации, одиночества и эротических судорог напоминают о творчестве Кафки и Го-

стовского и их отчужденных идеалах. С этой точки зрения еврейская тема и еврейские мотивы, отзвуки и аллюзии красной нитью проходят в полускрытом виде подспудным течением через все каутмановское мышление, становясь частью более общих тематических комплексов, т. е. человеческой тревоги, страха, любви и смерти.⁹⁴

Ф. Каутман – среднеевропеец по месту и времени рождения (это явление в качестве категории менталитета и культуры после 1938-1948 гг. почти исчезло) и, одновременно, по выбору (германо-славяно-еврейский мир): неотъемлемой частью среднеевропеизма Каутмана является и его интеграция восточнославянских (в особенности русских) элементов. Они засвидетельствованы скорее в качестве эмблематических, орнаментальных деталей. Два-три слова вносят в преимущественно чешский, немецкий или еврейский материал блеск аллюзий восточного экзотизма.

Именно в нем еще усиливается среднеевропеизм как особый центростремительный феномен, способный, с одной стороны, притягивать, синтезировать, а с другой, последовательно сохранять свой плюрализм и толерантность в среде ужасных религиозных войн прошлого, предшественников двух мировых конфликтов, которые родились именно здесь,

⁹⁴ См. мою словарную статью о Ф. Каутмане: *Kautman, František (* 1927 v gorode Ческе Будейовице)*, в: Alexej Mikulášek, Jana Švábová, Antonín B. Schulz a kol.: *Literatura s hvězdou Davidovou 2. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století*. VOTOBIA, Praha 2002, с. 42-48. См. также мою статью *Одна среднеевропейская судьба (Франтишек Каутман как литературовед и беллетрист)*. In: *Comparative Cultural Studies in Central Europe*. Editors: Ivo Pospíšil (Brno), Michael Moser (Wien). Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2004, с. 175-191. См. и другие мои рецензии статьи об этом авторе: *Metody, přístupy a typy literární vědy*. (František Kautman: *K typologii literární kritiky a literární vědy*. Praha 1996, 189 s.). SPFFBU, XLVI, D 44, 1997, s. 161-164; *Literatura a citlivost (F. Kautman)*. "Univerzitní noviny" 2001/12, s. 51-54; *Detail jako emblém doby (František Kautman: O literatuře a jejich tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977-1989*. Praha: TORST, 1999, 294 s.). „Slovak Review“, A Review of World Literature Research, vol. XI/2002, No. 2, s. 174-178 и др. Из его творчества обычно приводятся: *Boje o Dostojevského*. Praha 1966. St. K. Neumann. *Člověk a dílo 1875-1917*. Praha 1966. *Opilý satelit*. Olomouc 1966. *Literatura a filosofie*. Praha 1968. *F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij*. Praha 1968. *Nádhera rovnováhy*. Praha 1969. *Masaryk, Šalda, Patočka*. Praha 1990. *Svět Franze Kafky*. Praha 1990 (с названием Franz Kafka, 1992). *Mrtvé rameno*. Praha 1992. *Dostojevskij – věčný problém člověka*. Praha 1992. *Naděje a úskalí českého nacionalismu (politický profil V. Dyka)*. Praha 1992. *Prolog k románu*. Praha 1993. *Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského*. Praha 1993. *K typologii literární kritiky a literární vědy*. Praha 1996. *Jak jsme s Jackem hledali svobodu*. Praha 1996. *Román pro tebe*. Praha 1997. *O literatuře a jejich tvůrcích. Studie, úvahy a stati z let 1977-1989*. Praha 1999. *O smyslu oběti. Biblické reflexe*. CHERM, Praha 2003.

несмотря на идейные и экзистенциальные травмы этого геополитического пространства.

Каутман-художник скорее прозаик, хотя он писал и пишет поэзию: сборник стихов *Opilý satelit* (*Пьяный сателит*, 1966), посредством самиздата шесть сборников стихов 1965-1981 гг., стихотворный сборник *Melodie na jedné struně* (*Мелодия на одной струне*, 1981). То, что в скрытой форме бытует в его литературоведческих работах, более или менее откровенно пронизывает его художественные произведения – испытание совести, межпоколенческие барьеры, болезни межличностного общения, одиночество и эротические судороги, уничтожение идеалов. В наиболее сжатом виде они обнаруживаются именно в его сборнике повестей *Nádhera rovnováhy* (*Прелесть равновесия*, 1969). Наиболее сильно это выявилось в повести *Já a moje dcera* (*Я и моя дочь*, 1963), которая выражает в концентрированном виде жажду очищения и межпоколенческого взаимопонимания. И герои его романа *Jak jsme s Jackem hledali svobodu* (*Как мы с Джеком искали свободу*, 1981, 1995) ищут очищения, но, прежде всего, в единении с природой.

Исповедальной формой характеризуется роман *Mrtvé rameno* (*Мертвое плечо*, 1977, 1992). Это первоплановая, горькая исповедь убежденного марксиста, блестящая анатомия и физиология человека эпохи чехословацкого коммунизма вплоть до начала 70-х годов с тонкими отголосками конкретной политической ситуации. Ф. Каутман – мастер глубинного восприятия меняющейся общественной атмосферы, сдвигов значений, конфликтов и контрастов идей и быта, идеологии и темной, болезненной эротики. Герой, напоминающий некоторыми своими чертами и историей жизни антигероя *Записок из подполья* Ф. Достоевского, чувствует вину по отношению к бывшей любовнице Маркетке, которую из-за него исключили из вуза; позже возвращается к жизни и мышлению своего отца, поклонника Т. Масарика, с которым в юности как молодой радикал остро полемизировал. Наиболее тонко, однако, Каутман описывает изменения в быту героя к концу 50-х годов XX века.⁹⁵ Роман является базисом для других, более метатекстовых конструкций с более сложной структурой повествования.

Особую позицию, именно в смысле повествовательных форм, занимает сборник повестей *Alternativy* (*Альтернативы*) с подзаголовком Прозы 1966-1969 гг. Они были подготовлены к печати, но не успели выйти – нор-

⁹⁵ Kautman F.: *Mrtvé rameno*, Praha 1992, с. 113-116.

мализация как раз начиналась. С 1978 г. они распространялись посредством самиздата – до сих пор они официально не изданы. Повести представляют собой – на мой взгляд – вершину творчества Каутмана вообще; их можно считать вершиной чешской прозы 60-х годов XX века в смысле трактуемых проблем и художественного уровня. Прозы *Альтернативы* свидетельствуют о серьезных авторских размышлениях о религии и вере. Своеобразной формой отличается повесть *Maríáš* (Марьяж), в которой в рамках структуры и хода карточной игры излагается жизнь человека.

Теоретиками романа особо ценятся *Пролог к роману* (1979, 1992) с элементами метатекста и отголосков русской классики XIX века (Н. Г. Чернышевский) и *Román pro tebe* (Роман для тебя, 1997). Последнее произведение закончено – по свидетельству автора – в 1970 г., уже в период чехословацкой так называемой нормализации или же консолидации, когда Ф. Каутману было запрещено официально публиковать свои произведения. Именно оно считается мною ключевым, стержневым, сосредоточивающим в себе сущность авторской художественной исповеди и его видение мира. Основой произведения является метатекст и квазиметатекст: это звучит очень по-среднеевропейски, но и, одновременно, по-русски; ведь и такая классика как *Евгений Онегин* носит зачастую метатекстовый характер. С метатекстом связана и дигрессивность романа, т. е. наличие текстовых (иногда лирических) отступлений; метароманность является самим стержнем произведения.

Сохранение свободы является лейтмотивом романа Каутмана: автор, исходящий из своих идеологических поисков и заблуждений, переполненный дезиллюзиями, постепенно становится врагом всякой идеологии. Он излагает свою концепцию персонажей, обозначаемых большими буквами алфавита: его герой называется А. (К. Франца Кафки).

Третьим свойством романа является его конфессиональный, исповедальный характер, т. е. то, что типично для средневропейской филозофичности и контемплативности и, одновременно, для формы русской „идеологической беседы“, ядра русского характерологического романа XIX и XX веков. С этим связано и представление о естественном характере человека и общества, которое эти свойства подавляет.

Противоречия современного человеческого бытия и быта, а также угрозы ужасных катаклизмов приводят к желанию возвращения к истокам или образования совсем другого мира, с другими ценностями – но это, чаще всего, невозможно; смысл упомянутых противоречий состоит имен-

но в смирении, в сближении обеих крайних точек и в осознании необходимости катарсиса. Ключом к прозрению является в романе сцена столкновения политически враждебных групп студентов накануне рокового конца февраля 1948 года на улицах Праги⁹⁶.

Проза Ф. Каутмана основана одновременно на тайне и перманентной утрате уверенности; поливариантность подчеркивается самим автором, который осознанно считает свою романную технику так называемым киноавтоматом, чешским изобретением, впервые, как известно, продемонстрированным на мировой выставке в канадском Монтриоле (Монреале) в 1967 г.

Самым устойчивым слоем каутмановского романа является, пожалуй, его полускрытая русская аллюзивность, редкое явление в новой чешской литературе, за исключением, может быть, традиции стерновской дистрессии, кафковского абсурда и отчуждения или – иногда иронизируемой – чапковской стилизации в его ранних, „чеховских“ или позже детективных рассказах, а также романной трилогии 30-х годов XX века. Это проявляется на нескольких уровнях артефакта: лексическом, например „oživeně“, по-русски „оживленно“, нейтрально по-чешски скорее „živě“: В другом месте можно найти „sledy písmen“ вместо „stopy písmen“ (следы букв), „medvědí úsluha“ вместо „medvědí služba“ (медвежья услуга). На уровне метароманности находятся разного рода намеки (Доктор Живаго, Достоевский). Наиболее глубоки русские аллюзии на уровне поэтики: в роли трагического предвосхищения (сон о сыне, исчезнувшем в грязи, антиципационные элементы, именно в связи с поэтикой Достоевского – исповедальность, жанр идеологической беседы, детектив; эпилог); очень русскими кажутся также размышления о сожжении рукописей (Гоголь, булгаковское „Рукописи не горят“), ирония а самоирония.

Творчество Ф. Каутмана, на наш взгляд, наглядный и блестящий пример среднеевропеизма как особого феномена европейской и мировой культуры и мышления: способность связывать, переплетать, синтезировать, но не ликвидировать, предпочтение особых структур и эксперимента – это все вытекает из горького опыта прошлого и является – именно сейчас, в годы новых больших интеграционных движений, одновременно вдохновением и предостережением.

⁹⁶ Kautman, с. 95.

Есть литературные произведения, которые имеют большое значение не потому, что радикально развивают поэтологическую систему литературы, а скорее потому, что они движутся на грани литературных жанров, что они в этом смысле слова экспериментируют, гениально отражая более широкие контексты, становясь, таким образом, эмблемой определенного пространства и времени. Таким можно считать изданный в 2000 году одновременно по-немецки и по-чешски роман прозаика, переводчика и журналиста Оты Филипа Седьмое жизнеописание.⁹⁷ Этому произведению я с 2000 уделял в некоторых своих статьях особое внимание⁹⁸ сего-

⁹⁷ Чешско-немецкий писатель Ота Филип родился в Силезской Остраве в 1930 г., учился в гимназии в Праге, работал как администратор, журналист, шахтер и т. д., в 1968-1969 гг. работал редактором остравского издательства „Профиль“, в годы так называемой чехословацкой нормализации после советской оккупации страны он был шофером, позже его приговорили к тюремному заключению за политические действия. С 1974 г. он жил и живет в Германии. Из его романских произведений: роман Дорога к кладбищу (*Cesta ke hřbitovu*, 1968), Сумасшедший в городе (*Blázen ve městě*, 1969, в Чехословакии не издано, вышло по-немецки во Франкфурте-на-Майне 1969 как *Ein Narr für jede Stadt* и позже снова в Цюрихе 1975), Успение Лойзка Лапачека из Силезской Остравы (*Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy*, впервые по-немецки как *Die Himmelfahrt des Lojzek aus Schlesich Ostrau*, Frankfurt am Main 1973, по-чешски Köln am Rhein 1974, Прага 1994), *Zweikämpfe* (Frankfurt am Main 1975), Порочное зачатие (*Poskvrněné početí*, Toronto 1976, 1990), *Der Grossvater und die Kanone* (Frankfurt am Main 1981), *Tomatendiebe aus Aserbaischan und andere Satiren* (Frankfurt am Main 1981), *Café Slavia* (Frankfurt am Main 1985, по-чешски *Kavárna Slavia*, 1993, перевел Sergej Machonin), *Die Sehnsucht nach Perocida* (Frankfurt am Main 1988) и *Die stillen Toten unterm Klee* (Frankfurt am Main 1992). Перевел с чешского на немецкий стихи Я. Скацела и З. Ротрекла, прозы Р. Кунце с немецкого на чешский. Роман *Sedmý životopis* (HOST, Brno 2000, по-немецки тоже 2000, S. Fischer чехословацкой коммунистической тайной полицией в 1952, когда он донес на группу товарищей, с которыми хотел бежать за границу. После этого сын Филипа в Германии покончил свою жизнь самоубийством.

⁹⁸ *Humor jako mobilizace psychiky, potencialita, zmarňování, přesah a nebezpečí (Sedmý životopis Oty Filipa a jeho předchůdci)*. *Stylistyka X*, Opole 2001, с. 33-46. Osobnost a literární žánr v kleštích dějin (Poetika dějinného zmarňování na pomezí faktu a fikce aneb Ahasver 20. století: román Oty Filipa Sedmý životopis). *Slavia Occidentalis*, tom 58 (2001), Poznaň 2001, с. 58-155. *Mitteleuropäische Dimension und mitteleuropäisches Schicksal in Ota Filip's konfessionelem Roman-Dokument Sedmý životopis*. In: *Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Perekrestki kul'tury: Srednjaja Jevropa*. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2002, editor: Ivo Pospíšil, с. 305-316. *Vizualizace v komplexu*

дняшний обзор можно, следовательно, понимать как новое звено в этой цепи и как резюме данной проблематики; кроме поэтологической, т. е. морфологической точки зрения, и позиции визуализации и присутствия юмора, результатом которого является гримаса, тягостность, грусть и тревога, или же с сравнительного аспекта⁹⁹, кажется, что важной проблемой является средневропейское геополитическое пространство.

Проблема Средней Европы связана с многоязыковым характером этого пространства и из этого вытекающим мультикультурализмом или же мультидимензиональной гетерогенностью. Все попытки устранить эту дисперсию, разбросанность, дезинтеграцию и гетерогенность, которая, по своей природе, является, прежде всего, оценочной, аксиологической, тяготеющей к господству одного или двух элементов и подавлению других, миноритетных – это, однако, как показывает история, привело скорее, парадоксально, к усилению разновидностей за счет общих мест (*loci communes*), к подавлению осознания общей истории. Мультикультурность средней Европы представляет собой вечную травму, напоминающую травматические перекрестки на Балканах, в Прибалтике (Балтии) или же в польско-украинско-белорусском регионе на историческом фоне Австро-Венгрии и России. Эта травма рефлектируется в беллетристике как оценочная неустойчивость, связанная с мультилингвизмом и мультикультурализмом литературных персонажей, с их идейным колебанием (христианство как таковое, католицизм, протестантизм, консерватизм, либерализм, вольнодумство, атеизм, фашизм, нацизм, марксизм, практический коммунизм). Парадоксально в этом плюралистическом веянии стольких культурных и политических пластов усиливается одиночество и отчуждение человека, его историческое искоренение. Довольно точно постигла экзистенциальное положение средневропеизма так называемая пражская немецкая еврейская литература, в особенности Франц Кафка. Именно он показал, что то, что кажется пространственно ограниченным есть всеобщий, всечеловеческий признак; подобно тому и Т. Г. Масарик утверждал, что чешский вопрос имеет смысл только как всемирный. То, что явилось как причина отчуждения и искоренения (мультилингвизм, мультикультурализм, ментальная гетерогенность), может стать путем переключения сред-

uměleckých detailů v románu Oty Filipa Sedmý životopis. In: *Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze.* Pod redakcją Bożeny Tokarz, Katowice 2002, s. 299-307. Literatura a úzkost: Ota Filip a Oksana Zabužko. *Bohemica Litteraria*, roč. 2001, V 4, s. 147-153.

ством их преодоления. В то время как в прошлом велись поиски преодоления упомянутой гетерогенности в поддержке доминантной роли одного или двух (немецкого или русско-советского) элементов, сейчас выявилось, что баланс гетерогенности можно, лучше всего, найти в плюралистическом, взаимном уважении так, чтобы двусторонние напряжения (например, чешко-немецкое, чешко-польское, венгерско-словацкое, чешко-словацкое) преодолевались посредством мультилатерализма и мультикультурного движения среднеевропеизма, которые формировались на разных уровнях.

На примерах типичных среднеевропейских городов, как, например, Прага, Краков, Вена, Брно или Будапешт, легко обнаружить сходства или общие места в архитектуре, изобразительном искусстве, в культуре вообще, в литературе и в менталитете. Ряд общих черт общеевропейский, ряд только среднеевропейский. Везде, более или менее, встречается готика, ренессанс, маньеризм, барокко и рококо, разные псевдоклассические стили, стиль модерн (Sezession), конструктивизм и авангардные течения, в некоторых местах была сильнее реформация, в других контрреформация или строгие протестантские стили. Это, однако, касается не только столиц и крупных городов и политических и культурных центров, это всеобщее явление, захватывающее всю территорию и проявляющееся и в деталях и в меньших городах и городках. Например, сегодняшняя столица Нижней Австрии (с 1986 г.) Санкт-Пелтен (St. Pölten) концентрирует в себе явления и личности общие для существенной части среднеевропейского пространства: остатки готики, ренессансное ядро с наступающей барочной перестройкой, дома в стиле модерн начала XX века: ратуша, восходящая к началу XVI века, с барочным помещением городничего (1722), францисканским костелом в стиле рококо, но и Музей во дворе (Museum im Hof) с экспозицией рабочего движения, барочный Институт английских барышень, Кремская и Венская улицы, включая и ренессансные и барочные постройки и дома в стиле модерн; личности, как, например, Якоб Прандтауэр (Jakob Prandtauer) и Даниель Гран (Daniel Gran), образовали архитектуру и изобразительный облик большей части среднеевропейского ареала; если не забыть и о еврейской традиции (синагога была уничтожена нацистами в 1938 г., сейчас она отреставрирована), получается общий среднеевропейский профиль, город как эмблема среднеевропеизма.

Существенную часть своего творчества Ота Филип связал с Островой, когда-то национальным котлом, в котором очутились жизни силе-

зийцев, чехов, моравлян, поляков, немцев и евреев. В романе о Лойзке, например, речь идет о временном отрезке с конца 20 годов до 21 августа 1968 (до советской оккупации Чехословакии). Автор движется между исповедальным и хроникальным типом прозы. *Успение Лойзка Лапачека* на первый взгляд типичная исповедь, конфессия, но, одновременно, и хроникальная структура, повествовательная зона, захватывающая много лет и все ключевые общественные изменения. Большой мир политических и национальных столкновений преломляется в трагикомический мирок обыкновенных людей. Повествование основывается на традиционных подходах переплетения временных уровней и потока сознания. Основной чертой персонажей Филипа являются неустойчивость, неуверенность, вечные поиски, фасцинация идеалами и их суетностью, культ исторических компромиссов. В романе-хронике о Лойзке Лапачеке искоренение демонстрируется следующим образом: главный герой, или же антигерой Лойзек не принадлежит ни к кому, он чех, но посещает немецкую школу, его отец служил в немецкой армии, он сам после войны стал членом компартии. Судьбы отдельных лиц наглядно показывают идиотизм национализма и стадности, которая постепенно угрожает средневропейскому пространству и которая в местных условиях выглядит смешно. И, сверх того, здесь присутствует и боль памяти (внезапные изменения взглядов и позиций, роль тех, кто стал карателем по профессии и самозванным судьей своих сограждан при любом политическом режиме).

Седьмое жизнеописание отличается от предыдущих произведений автора тем, что факты, аутентичность нарушают ось факт – фикция в пользу факта – много эпизодов является полностью документальными, давление большой истории подчиняет себе в высокой степени маленькие истории людей (*histoire, history, story* = сюжет, но и история человеческой жизни, „малая история“). Автор видит эту большую и малую историю следующим образом: „В прошлые 70 лет, не покинув центр Европы, я пережил семь политических режимов, тринадцать президентов, одного Адольфа Гитлера и его тысячелетний „рейх“, но мне посчастливилось, так как он для меня длился всего лишь 6 лет, одного Сталина, семь большевистских генсеков и в период 1948-1974 одну вечную дружбу с СССР. Я три раза изменил гражданство, два раза речь и два раза потерял родину, а это все в большом и беспокойном сердце Европы¹⁰⁰“. Для Филипа история представляет собой вечный процесс ликвидации воздействия толерантности

¹⁰⁰ O.Filip: *Sedmý životopis*. Brno 2000, с. 7.

и добра; в этом смысле его романы напоминают прозы другого чешского автора Владимира Кернера (Vladimír Körner, год рождения 1939).

Оба автора находят существенную проблему средневропейской трагедии в разных идеологиях, опирающихся на философию, национализм или национальную или социальную слелоту и низкую степень толерантности. В романе О. Филипа много страниц отводится описанию того, как герой после войны заново получает чехословацкое гражданство, хотя он все время жил в одном месте. Это напоминает в средней Европе известный анекдот о человеке, который постепенно жил в Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии и в Украине, не покидая Мукачева. Территориальные изменения приводят к образованию национальных историй и устранению совместной средневропейской идентичности: автор зачастую пользуется известным приемом, посредством которого он как бы протестует против внешних изменений, описывая неудобные, тягостные сексуальные сцены на фоне потрясающих политических событий (чехословацкий коммунистический переворот в 1948 г. и т. д.).

Оставское, северноморавское, силезское происхождение главное лицо романа сохраняет и в Праге: герой, следовательно, лучше понимает релятивизм истории разных наций и идеологий. Ключевым местом романа является работа авторского рассказчика в редакции газеты „Млада Фронта“ в помещениях бывшей немецкой антифашистской газеты „Prager Tagblatt“. По заслуге одного пожилого человека он роется в архиве немецкой газеты, читает немецкие книги (Мейринк, Рильке, Музил), тематически связанные с чешской территорией, и всю пражско-немецкую еврейскую литературу, описывая свой опыт ученика немецкой школы в северной Моравии. Под крышей бывшей немецкой газеты „Prager Tagblatt“ он сызнова обнаружил красоту немецкого литературного языка и на нем написанной художественной литературы.¹⁰¹

Роман *Седьмое жизнеописание* можно воспринимать как особую форму авторской исповеди и как общественную хронику последних нескольких десятков средневропейских лет: в то время, как его пражская платоническая любовь Мария не ощущает толерантности, удивляясь, почему наш герой вообще может читать такие страшные вещи, как повесть Ф. Кафки *Превращение*, он сам начинает понимать естественную эмблематичность повести в связи с наступающими общественными и культурными катаклизмами.

¹⁰¹ O.Filip, op.cit., с. 198-201.

Эта обстановка в романе связана не только с чувствительностью и скепсисом, но и со странным юмором, напоминающим юмор Гоголя и некоторых упоминаемых немецких авторов. У Кафки юмор функционирует как особый вид катарсиса и новой интерпретации действительности. У Филипа масса юмористических эпизодов, которые, однако, связаны с тягостностью и неудобством – все как бы покрыто мраком депрессии и тревоги; результатом юмора является еще более глубокая грусть (сексуальные сцены на грязном диване, варение вязкого мыла на фоне политического переворота, юмористические эпизоды редакторской работы на фоне культурной трагедии, культурный вакуум, эпизод с русской игрой городки в бывшей Чехословакии связан с трагедией более поздней политической эмиграции). Безысходность истории обрамляется визуализированием сцен, в которых активизируется обоняние и осязание; история в пражских улицах, наверное, воняет – грязь, вонь и отвращение являются эмблемами исторического тупика.

Казалось бы, что этот средневропейский исторический тупик вечен, но само место действия – бывшая редакция „Prager Tagblatt“ – свидетельствует о другом. Эти культурные эпизоды, выглядящие как алмаз на фоне серых, литанических описаний ужасов, показывают, по крайней мере, то, что сам автор считает миром своих ценностных иерархий. Культура слабая, она скорее дело элиты, но эта элита не тождественна с политическими элитами. Средняя Европа вдруг выходит за черту своего исторического определения, становясь все более духовным пространством, виртуальной реальностью, которая пронизывает все: она действует медленно, постепенно, в большом отрезке времени, не годы, а столетия, парадоксально преодолевая посредством своей амбивалентности и релятивизма амбивалентность и релятивизм истории, как этот полузабытый архив „Прагер Тагблатта“ („Prager Tagblatt“) сияет, несмотря на многолетнюю пыль, сильнее, чем весь блеск временных победителей.

В чешской литературе конца XX и начала XXI веков занимает особое место творчество силезского писателя Йиндржиха Зогаты¹⁰², родив-

¹⁰² Поэт и прозаик Йиндржих Зогата родился 6 августа 1941 в селе Яворжинка в Польше. Он вступил в чешскую литературу фактически, два раза. В разговоре, который я с ним вел на страницах чешского литературного журнала TVAR (*Poezie*

шегося на границе трех теперешних государств (Чешской Республики, Польши и Словакии). Необходимо сразу же добавить, что его жизненный опыт формируется в 60-е годы, в период всемирного оживления литературы и гуманистических идеалов свободы и толерантности, когда возобновляется интерес к поэтической традиции прошлого, а именно к модернизму, авангарду, а, кроме того, к более отдаленным направлениям, стилевым и поэтическим веяниям, в том числе к романтизму и барокко. Творчество Й. Зогаты многогранно с тематической и жанровой точек зрения. Это связано с фактом, что Зогата одновременно поэт и прозаик. В упомянутом разговоре со мной (см. примечание 1) в журнале TVAR он, между прочим, сказал: „Поэзия – это дыхание. Дыхание – это жизнь... Прозу я стал писать только в начале 80-х годов. Она помогала мне расслабить деспотизм эпохи, в которой нельзя дышать. Поэтическая метафора, сама по себе, сгущение, сокращение, не способна противостоять внешнему террору, она его даже своеобразно усиливает.“ Специфической чертой Зогаты является то, что он умеет точно отделить прозу и поэзию, не смешивая их, как это обычно делают поэты, которые решили стать прозаиками, или

je dech, т.е. *Поэзия – это дыхание*, 1995, 20, с. 9) он комментирует свои жизненные приключения следующим образом: „В течение 60-х годов составил я четыре рукописи своих сборников стихов. Издательства конца десятилетия, стремящегося к надежде после пропасти 50-х годов, эти рукописи приняли. Потом наступил 1968 год. Я подписал манифест *Две тысячи слов*. Сборники не были изданы.“ Следует отметить, что изменилась не только судьба поэтических творений Зогаты, но и сама его жизнь. Он происходит из силезской крестьянской семьи, из языково смешанной области, в которой бытуют польский, силезский, чешский и словацкий языки в форме разнородных диалектов. Вся семья проявляла склонность к искусству – отец Павел как музыкант и народный рассказчик, дядя Ондрей как резчик. Искусство не покидает Зогату и на его дальнейшем жизненном пути – его жена Мирка Зогатова-Фикрова (родилась в 1948 г.) художница. После второй мировой войны семья переселилась в тогдашнюю Чехословакию (Яблунков, Есеник и др.). Он учится в средней школе в Яблункове, в Брно он поступил в Сельскохозяйственный вуз (1957-1962 гг.), потом он работал в разных профессиях (ассистент в Чехословацкой Сельскохозяйственной Академии, крестьянин, референт культуры в северной Моравии и др.). После подписи манифеста *Две тысячи слов* он стал рабочим, в Брно он возвращается в 1974 г. как работник Центра городской зелени – постоянные возвращения в деревню Грчава в Бескидах, на границе Словакии, чешской Силезии и Польши, вдохноляют его по сей день. В начале нового тысячелетия он был и председателем брненского филиала чешского Общества писателей в Брно. Я познакомился с Й. Зогатой когда-то к концу 70-х годов в брненском Академическом кафе, связанном с кипучей культурной жизнью довоенного Брно – в 90-е годы 20 века кафе перестало действовать – как и десятки подобных культурных учреждений страны. За пивом он мне тогда подарил красивое поэтическое новогоднее поздравление: там было что-то о птицах, зернах и о неотвратимо наступающей весне.

прозаики, ставшие поэтами. Его прозаический стиль наиболее четко выражен в трилогии *Наследие исчезнувших свирелей* (*Dědictví zmizelých písňal*, 1996), *Овес на крышах* (*Oves na střechách*, 1996) и *Деревянные пирамиды* (*Dřevěné pyramidy*, 1998).

Если говорить о жанровом обрамлении, то необходимо отметить, что силезская трилогия относится к особой генерической форме романа-хроники (романической или романной хроники), которую культивировали примерно с половины XIX века, главным образом в славянских, скандинавских и англосаксонских странах; в чешской литературе это, в частности, некоторые произведения моравских прозаиков А. и В. Мршттик, южночешского литератора Й. Голечека, известного исторического романиста А. Ирасека и др. Спецификой этого жанра является сохранение биологического, естественного художественно преломленного времени, размер которого дается человеческой жизнью, существованием места действия, как правило, деревни или городка, слабо развитым эпическим сюжетом, описательностью и преобладающей характерологией („портретная галерея“).

Роман-хроника наиболее часто встречается в переломные моменты бытия нации, в переходные, транзитивные периоды истории. Так, например, в XIX веке он связан с ломкой феодализма и с наступлением капитализма и, следовательно, с началом нового образа жизни, новой морали и новых ценностей; в начале XX века с доминантным конфликтом эпохи, а именно с борьбой великих держав за новое распределение мира; во второй половине XX века, а именно в его конце, с наступлением технологической революции и с постмодернизмом, с его амбивалентностью и тотальной перестройкой ценностной системы. Зогата возвращается к местам своего детства, к пограничной области, где он родился, к национально и культурно смешанной структуре, вносящей неожиданные акценты в его этику и эстетику. Хроникальная трилогия Зогаты, своего рода историософическая проза, не может не коснуться проблемы регионализма (его деревня становится центром мира, узлом космогонического мифа, как Макондо у Маркеса или Скотопригоневск у Достоевского) посредством хроникального строения, отсутствия драматической формы, свободной, некаузальной связи отдельных эпизодов и скрытого напряжения между локальным и тотальным, мифом и историей, жизнью индивидуума о общности. Это напряжение выражает самую сущность человеческого познания: хотя автор отказывается от ценностно иерархизированной манипуляции

с человеком и с историей, он все же не может полностью устранить человеческое стремление моделировать и формировать: это моделирование исходит, однако, не из насильственного приспособления, а из полного понимания хода вселенной – это то дыхание, которое Зогата отождествляет с поэзией.

Проза Зогаты, описывающая историю пограничной области между Моравией, Словакией и Польшей с первой мировой войны по конец второй мировой и позже, обрамляет, следовательно, ее поэтическое ядро, состоящее, однако, не в ритме или поэтическом языке в узком смысле слова, а в признании космических движений, в пределах которых происходит вся человеческая история как эпохальное действие и как история индивидуальной человеческой жизни.

Компактная структура первого тома *Наследие исчезнувших свирелей* постепенно распадается: мир проникает в место действия и, в конце концов, ликвидирует его целостность. Метафорическая сила хроники ослабевает, заменяясь документальными словесными слоями, приемами литературы факта. Относительно жанра как высшей в поэтической иерархии категории можно подытожить, что он основан на дуальной структуре локального и тотального, что его ядром является поэтическая идея самодвижения неприкосновенной космической силы и связи человека и космоса; эта двойная структура, однако, постепенно распадается по мере того, как в место действия проникают события внешнего мира. Внутренним символом, эмблемой жанрового движения является кошмарный образ дьявола (Lucifer = Lucifer, факельщик), напоминающий подобные образы в хрониках некоторых авторов XIX и XX веков, именно русских (М. Е. Салтыков-Щедрин, М. Горький). В ценностной иерархии все имеет свое место, нет тут социальных детерминант: движение крыльев летучей мыши стоит в ней так же высоко, как ужасы мировой войны и стратегические шаги политиков.¹⁰³ Таинственные проявления наступающей весны, жизнь людей, растений, камней, летучих мышей, мухи на картинах святых, ночные прогулки влюбленных, война и работа на полях сливаются в одно космическое целое.

Зогата конструирует свою трилогию на основе известной гомологии форм. Распаду Австро-Венгрии соответствует постепенный распад дуального строения романа-хроники. Как у Ч. Айтматова, так и у Й. Зо-

¹⁰³ *Dědictví zmizelých píšťal*, с. 26.

гаты лейтмотивом является работа художника, искусство как высшая степень духовности. В трилогии это народные музыканты, певцы и резчики. Начиная со второго тома, усиливается поток песенных текстов в местном диалекте.¹⁰⁴

В третьем томе усиливается исторический характер романа-хроники, ликвидируется дуальность, антиномии локальный – тотальный, место действия – большой мир и подчеркивается мифический характер событий (образ Луципера = Люцифера, дьявола).¹⁰⁵ В определенной степени устраняется фрагментарный характер повествования, усиливается эпическая природа жанра, его документальный и исторический базис, в замкнутое место действия проникают все больше и сильнее, интенсивнее события из большого мира.

Поэтика романа-хроника отражает основные морфологические принципы построения жанра. Характерна уже поэтика названия: она относится к местности, к чему-то прочному, к стабильности жизненного начала (*Dědictví zmizelých píšťal*, *Oves na střechách*, *Dřevěné pyramidy*); названия одновременно имеют эмблематическую природу (наследие предков, связанное с креативным подходом к жизни, связь овса и дерева с бытием человека, природы с человеческой общностью). То же характерно и для внутреннего членения хроники: названия отдельных глав выражают будто бы периферийные, не столь важные данные: это, скорее, цепи художественных деталей и моментальных эпизодов, зачастую носящие игривый и образный характер (*Amerika je za potokem*, *Šest dnů do týdne, šest dírek do píšťalky*, *Hrad bídy*, *Maštalka v ovesné slámě*, *Brázda do Těšína*, *Vojna o Račí potok*, *Osifovy varhany*); названия глав, в конечном счете, как бы отражают постепенный сдвиг от хроники к историко-документальному роману. Концовка (explicit) имеет открытый характер, стремится к продолжению, указывает на открытую структуру произведения, иногда это даже поэтическая гнома, отражающая конец места действия, покидаемого прежними жителями.

Конструирование романа у Зогаты основано на отрывистости текста, на коротких предложениях, на простом синтаксисе и на особом остраении, которое зачастую вытекает из недостаточно освоенных основ чешского языка. Возникает эффект, известный из произведений других авторов, родной язык которых был не тот, на котором написаны их бессмерт-

¹⁰⁴ *Oves na střechách*, с. 183 (после работы Павел Зогата занимается музыкой).

¹⁰⁵ *Dřevěné pyramidy*, с. 51.

ные творения (*Joseph Conrad* и *Guillaume Apollinaire* были поляки: соответственно *Korzeniowski* и *Kostrowicki*; орнаментальная проза Ч. Айтматова или Анатолия Кима в русской литературе и т. д.). Известно также и то, что их язык читатели воспринимали как особый, оригинальный, новаторский, зачастую и красивый, эстетически значимый.

Роман-хроника уже по своему методу документальной записи событий – реальных или фиктивных – противостоит любому схематизму и идеологизму: у Зогаты в его трилогии это обнаруживается везде, буквально на каждом шагу его повествования, наиболее выразительно в конце третьего тома *Деревянные пирамиды*, в котором преступления, убийства борющихся сторон стоят рядом, образуя не только пирамиду дров, но и пирамиду насилия – без начала и без конца.

В мозаике скорее постмодернистских произведений или массовой, тривиальной литературы, которые зачастую переплетаются в хаотической интертекстовой поэтике, возобновление древних жанров и традиционных жанров с более современной поэтикой и языком и стилем подчеркивает важность альтернативы и нового синтеза и нового обращения к прошлому литературы: это попытка как бы заново посмотреть на язык и его поэтическую функцию. Определенный наивизм трилогии Й. Зогаты в смысле возвращения к истокам языка, к его праоснове, к древним приемам повествования в связи с конструированием художественного пространства и времени, которое мы когда-то назвали хроникальной пульсацией,¹⁰⁶ может выполнять ту функцию, о которой З. Матхаузер говорит как о *metahabilitas*,¹⁰⁷ сближающую Й. Зогату с подобными талантами мировой литературы, какими были, к примеру, Н. С. Лесков и А. Ремизов¹⁰⁸.

Уже само обозначение времени после 1989 года как периода трансформации свидетельствует о журналистическом, т. е. имитационном вдохновении, неточности, поверхностной атракции, об определенной степени

¹⁰⁶ См. наши книги *Ruská románová kronika*. Brno 1983; *Labyrint kroniky*. Brno 1986, *Genologie a proměny literatury*. Brno 1998, и другие работы.

¹⁰⁷ Z. Mathauser: *Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu*. Brno 1988.

¹⁰⁸ Грачева, А.: *Алексей Ремизов и древнерусская культура*. Studiorum Slavicorum Monumenta, tomus 19, Российская Академия Наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). С.-Петербург 2000.

принуждения, рекламной повторяемости, как и о других понятиях, связанных с развитием Европы в 90-е годы XX века. Общей чертой является радикальность, легкость образования новых взглядов, убеждение в возможности быстро достигнуть конкретных целей. В литературе с этим связано давление тривиальности, массовости, уходящих вглубь постмодернистских моделей: оно иллюстрирует их поэтику и, одновременно, придает себе с ее помощью определенную степень интеллектуализма, которая дает литературе возможность попасть в мир большого дискурса. Для этих процессов характерно господство так называемых мягких подходов, общая амбивалентность, неуверенность, туманность, оценочный промискуитет и культ имитации. Человечество теперь живет в эпоху, когда на больших идеях и больших текстах паразитируют маленькие идеи и ничтожные тексты. Ибо – по Вальтеру Бенямину (Walter Benjamin) – сейчас наступила эпоха всеобщей воспроизводительности; это утверждение восходит – подчеркиваю – к 30-м годам XX века; немецкий философ не мог тогда ничего знать об электронных средствах. Мы живем во время диктата массовых средств коммуникации и необыкновенной человеческой способности трансформировать все в язык журналистики: мысли, чувства, страсти, достоинство, любовь и ненависть. Доминантой является игра с человеком: можно об этом больше узнать, если сравнить, какие идеи защищались героями чешской литературы с 40-х годов XX века по начало XXI века. Наше время – и это его заслуга – наглядно показывает, как легко имитировать оригинальные идеи и превращать их в журналистическое барахло, как путем постоянного повторения можно ликвидировать значение почти всего в этом мире, образуя ощущение всеобщего отвращения и скуки.

Чешский писатель Михал Вивег (Michal Viewegh, рожд. 1962), издал в течение 13 лет тексты, которые можно обозначить словом роман.¹⁰⁹ Их основной чертой является присутствие метатекста и интертекста, игры с чужими текстами, пародии и травестики литературных жанров и – в противоположность традиционной фальшивой чешской скромности – значительной степени эксгибиционизма, который выявляется в многочисленных интервью, где писатель пропагандирует свое творчество, образуя его

¹⁰⁹ *Názory na vraždu* (1990), *Báječná léta pro psa* (1992), *Nápady laskavého čtenáře* (1993), *Výchova dívek v Čechách* (1994), *Účastníci zájezdu* (1996), *Zapísovatelé otcovský lásky* (1998), *Povídky o manželství a sexu* (1999), *Nové nápady laskavého čtenáře* (2000), *Román pro ženy* (2001), *Báječná léta s Klausem* (2002). Его произведения были переведены на 17 языков.

массмедиаальный фон. Он, однако, не единственный, кто осознает, что литературе сейчас необходимо двигаться в дополняющих друг друга парах (литература – театр, литература – фильм) – его концепция основана на экономической калкуляции, хотя он декларирует себя как беспощадный критик современного чешского президента В. Клауса¹¹⁰ и тот, кто зачастую действует против течений.

Творчество М. Вивега образует один полюс наиболее популярной чешской литературы на грани двух тысячелетий – это на публицистике и массмедиаальной тривиальной основе построенная литература, которая формируется по образцу моды легко пародируемых общественных и языково-культурных элит, воспринимаемых квазикритически; другая линия, о которой шла речь, скорее традиционна (Й. Зогата и его силезская трилогия; *Квета Легатова – Květa Legátová* – или же Вера Гофман, рожд. 1919, и ее цикл повестей Желары, 2001)¹¹¹.

История частного детектива Дениса Правды и писателя Норберта Черного происходит в мнимо фиктивной среде; по ряду внешних и внутренних автобиографических данных ясно, что это современная Чехия и чешское общество начала XXI века.

Оба упомянутых полюса чешской прозы связаны посредством определенного традиционализма: в то время как Зогата и Легатова исходят из дескриптивных, хроникальных структур, М. Вивег или, например, М. Незвал¹¹² паразитируют на тривиальной, массовой литературе; иногда нельзя точно определить меру пародии и согласия. Нарочно декларативное отношение Вивега к самопропагандированию и экономической функции литературы (в одном разговоре он охарактеризовал это так, что запланировал написать хотя бы один роман в год) можно воспринимать как особую критику социальной действительности, но, одновременно, и как идентификацию с ней, т. е. „амбивалентность“. В то время как персонажи Зога-ты и Легатовой образуют более или менее драматические действия в потоке ежедневной жизни из мелких элементов, связанных в одну цепь,

¹¹⁰ См. *Báječná léta s Klausem* (2002).

¹¹¹ Š. Vlašín: *Prozaička se třemi jmény*. Obrys-Kmen 2003, 21, с. 2.

¹¹² М. Nezval: *Obsluhoval jsem prezidentova poradce. Premiér a jeho parta*. Akademické nakladatelství CERM, Brno 1995, первоначально 1993 а 1994. См. I. Pospíšil: *Poetika a žánrotvorné prostředky předstírání a zastírání jako pramen směšnosti u Martina Nezvala (Obsluhoval jsem prezidentova poradce, 1993; Premiér a jeho parta, 1994)*. *Świat humoru*. Redakcja naukowa Stanisław Gajda i Dorota Brzozowska. Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole 2000, с. 477-484.

Вивег генерирует свой сюжет из одного или двух мотивов как продолжение и нарастание и их количество регулирует посредством техники обрамления (Шкловский, Вшетичка¹¹³).

Демонический характер творчества М. Вивега в целом напоминает моделирование мира М. Кундеры в его цикле повестей *Смешные любви*. Вивег детерминирует свой сюжет в форме исходной ситуации, предвосхитившей развитие действия: писатель подвергает допросу детектива и принуждает его рассказывать историю слежки его любовницы Клары. В то время как модернисты формировали свое искусство как способность видеть мир будто бы в первый раз (формалистическое „остранение“), М. Вивег, исходивший из постмодернистской поэтики, строит свой рассказ на автоматизации; его люди – чтобы избежать постмодернистской амбивалентности и тотальной неуверенности – хотят предотвратить их. Аутентичные манифестации человеческого эго, как, например, ревности, фактически доминантной темы романа, устраняются путем автоматизации: детектив Правда и его жена Рут говорят о физиологических деталях своих любовных приключений.¹¹⁴

Автор структурирует свой роман графически и аксиологически. Проблема – например для переводчика – заключается в том, что речь идет не столько о лексике разговорного чешского, сколько о сленге, связанном с актуальной информацией, замкнутой в чешской проблематике, информацией, которая постепенно забывается и в этой среде. Связь с модными трендами чешской действительности манифестируется в эпизоде поездки в Китай, напоминающем киносценарий: Вивег зачастую строит свои прозы наподобие киносценариев по известным, чисто практическим причинам.

В одном из своих последних романов *Vybíjená* (2004), оригинальное чешское название которого обозначает популярную игру в мяч (близкую, говорят, английской игре pig-in-the-middle), автор вернулся к традиционной дезинтегрированной романной модели с разными точками зрения (джеймсовскими points of view). Никакой мир an sich не существует, есть только миры нарративов, изолированные целые, не имеющие ничего общего или встречающиеся лишь иногда. Есть только здесь и теперь, ценности умирают как эфемериды только в час своей массмедиальной презентации.

¹¹³ F. Všetická: *Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století*. Votobia, Olomouc 2001. Týž: *Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století*. Votobia, Olomouc 2003.

¹¹⁴ M. Viewegh: *Případ nevěrné Kláry*. Petrov, Brno 2003, с. 49-50.

Вивег превосходно владеет методом коллажа: постмодернизм для него только часть торта, приготовленного собачкой и кошкой: с обсессивных намеков на Клауса по ностальгию, грусть безысходности и новое включение в ежедневный автоматизм – его новый человек столь искренний, что его искренность становится несносной, выражая лишь новый размер неискренности. Прозвища вивеговских персонажей напоминают воспоминания о фильмах и телепередачах их молодости.

Еще русский китик В. Г. Белинский в известной статье *О русской повести и повестях г. Гоголя* (1835) восхищался в этом русско-украинском авторе его умением поэтизировать действительность, что и называл реальной поэзией в противовес роматизму, т. е. идеальной поэзии. Повседневность, ежедневный автоматизм, – это и главная тема Вивега: в то время как Гоголь обнаруживает общий и эмоционально опустошающий фон ежедневной банальности, доходя до печальной ностальгии, Вивег приводит ежедневный автоматизм до крайности: его человек защищает самого себя от убийственной амбивалентности и неуверенности путем их расширения и абсолютизации и, таким образом, ликвидирует их. Легче всего уничтожить какой-то предмет так, что он увеличится, труп лучше всего скроется в массе трупов. Вивеговский „новый человек“ XXI века – это начитанный зверь, который берет все как смерть, у него нет никаких оценочных иерархий, и свое образование он культивирует лишь для того, чтобы устранить из жизни напряжение, неуверенность и амбивалентность: неожиданные моменты можно элиминировать путем автоматизма. Наряду с демонизмом, моделирующим мир по своему образцу, и хроникальной текучестью, Вивег находит третий путь, а именно способность идентифицировать свою жизнь с моментом истории, с годиецентризмом нового времени.

На поверхности проза Вивега как бы выявляет постмодернистскую амбивалентность, неуверенность, эксплуатацию схемы детектива, внутри она, однако, функционирует по-другому: в то время как у постмодернистов можно за этими передвижными кулисами найти глубокое раздумье, чувство суеты, искоренения и ностальгии, у Вивега это чувство травестировано. Главной темой Вивега является тема тотальной транспарентности: все живут как в аквариуме. Литература модернизма основала особую, но авторитетную оценочную экспериментальную структуру, постмодернизм исходил из плюрализма, из совокупности не встречающихся дискурсов, в квазипостмодернизме М. Вивега индивидуум полностью раство-

ряется в глобализованном мире. Жизнь теряет свою цельность, пространство и время разделились на самостоятельные части, разбросанные гномы, изолированные крылатые выражения, эффектные слова, английские термины. В квазипостмодернизме искусство больше не способно спасти человеческую душу: его ценности не только амбивалентные, но почти нулевые, ограниченные моментом их возникновения и короткого существования. Квазипостмодернизм связан с деаксиологизацией современного мира, в котором смысл имеет лишь то, что существует в массмедиальной презентации: есть только короткое настоящее, никакого прошлого и будущего нет – это, кажется, выражение абсолютного недоверия к традиционной истории и политике. В то время как утопическая и антиутопическая литература проецирует все свои видения в будущее (футуроцентризм), которое или красивое или угрожающее, традиционные дезиллюзивные прозы XIX века демонстрируют бессмысленность настоящего и будущего, обращаясь лишь к прошлому, постмодернизм паразитировал на падали чужих текстов, смешивая, таким образом, вполне естественно, настоящее и будущее, квазипостмодернизм живет только настоящим, сегодняшним днем. „Новый человек“ Михала Вивега и его квазипостмодернистский мир, кажется, предвосхищает некоторые черты мира в преддверии нового биг бенга (big bang), который может связываться не только с ожидаемыми космическими катаклизмами, но и с внутренними изменениями человека как биологического вида. Не случайно этот голос приходит почти незаметно, тихо, не случайно, что он приходит именно из средней Европы, откуда не раз приходили зловещие и надежды подающие события и сигналы.

Литература

Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno 2000.

Burmeister H.-P.: Boldt F.: - Mészáros G.: (Hrsg.): *Mitteleuropa: Traum oder Trauma?* Bremen 1988.

Busek E.: *Mitteleuropa: Eine Spurensicherung.* Wien 1997.

Busek E. – Bix E.: *Projekt Mitteleuropa.* Wien 1986.

Busek E. – Wilflinger: *Aufbruch nach Mitteleuropa: Rekonstruktion eines versunkenen Kontinents.* Wien 1986.

- Central Europe. Core or Periphery?* Copenhagen Business School Press, København 2000.
- Centrisme interlittéraire des littératures de l'Europe Centrale.* Literární studie. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 5, Masarykova univerzita, Brno 1999. Redacteurs: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka.
- Demetz P.: *Prague in Black and Gold. Scenes from the Life of a European City.* New York 1997.
- Dor M.: *Mitteleuropa: Mythos oder Wirklichkeit? Aus der Suche nach der grösseren Heimat.* Salzburg – Wien 1996.
- Frommelt R.: *PanEuropa oder Mitteleuropa. Einigungsbestrebungen im Kalkul deutscher Wirtschaft und Politik 1925-1933.* Stuttgart 1977.
- Gauss K.-M.: *Die Vernichtung Mitteleuropas.* Klagenfurt – Salzburg 1991.
- Gerlich P., Glass K., Serloth B. [Hg.]: *Mitteleuropäische Mythen und Wirklichkeiten.* Wien-Toruń 1996.
- Gerlich P., Glass K., Serloth B. [Hg.]: *Neuland Mitteleuropa. Ideologiedefizite und Identitätskrisen.* Wien-Toruń 1995.
- Gerlich P., Glass K. (hrsg.): *Vergangenheit und Gegenwart Mitteleuropas.* Wien – Poznań 1998.
- Gerlich P., Glass K., Kiss Endre (hrsg.): *Von der Mitte nach Europa und zurück.* Wien – Poznań 1997.
- Gimpl G. (hrsg.): *Mitteleuropa. Mitten in Europa.* Helsinki 1996.
- Glass K., Puślecki Z. W. (Hg.): *Mitteleuropäische Orientierung der 90er Jahre.* Wien – Poznań 1999.
- Goworowska-Puchala, I.: *Mitteleuropa. Rdzeń Starego Kontynentu.* Toruń 1997.
- Gürge W.: *PanEuropa und Mitteleuropa.* Berlin 1929.
- Hantos E.: *Das Donauprobem.* Wien 1928.
- Hantos E.: *Das Geldproblem in Mitteleuropa.* Jena 1925.
- Hantos E.: *Das mitteleuropäische Agrarproblem und seine Lösung.* Berlin 1931.
- Hantos E.: *Die Handelspolitik in Mitteleuropa.* Jena 1925.
- Hantos E.: *Die Kulturpolitik in Mitteleuropa,* Stuttgart 1926.
- Hantos E.: *L'Europe centrale. Une nouvelle organisation économique.* Paris 1932.
- Hantos E.: *Mitteleuropäische Eisenbahnpolitik. Zusammenschluß der Eisenbahnsysteme von Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und Jugoslawien.* Wien 1929.

- Hantos E.: *Mitteleuropäische Kartelle im Dienste des industriellen Zusammenschlusses*. Berlin 1931.
- Hantos E.: *Mitteleuropäische Wasserstraßenpolitik*. Berlin 1932.
- Hodža M.: *Federácia v strednej Európe a iné štúdie*. Bratislava 1997.
- Hodža M.: *Schicksal Donaauraum. Erinnerungen. Mit einem Geleitwort von Dr. Otto von Habsburg*. Wien – München – Berlin 1995.
- Jahn E.: *Bibliographie zur Mitteleuropa Diskussion. Beilage. Zeitschrift für Politik und Kultur im Mittel- und Osteuropa*, Nr. 21, November 1988.
- Johnson L. R.: *Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends*. New York – Oxford 1996.
- Katzenstein P. J. (ed.): *Mitteleuropa. Between Europe and Germany*. Providence – Oxford 1997.
- Krebs H.: *Paneuropa oder Mitteleuropa*. Münschen 1931.
- Kujawa A.: *Mitteleuropa als Paradigma der Identitätssuche? Der Prosawerk von Czesław Miłosz im Kontext der Mitteleuropa-Debatte de achtziger Jahre*. Wien 1997.
- Kühl J.: *Federationsphäre im Donaauraum und in Ostmitteleuropa*. München 1958.
- Le Rider J.: *L'Europe Centrale – L'Idée germanique de Mitteleuropa*. Paris 1994.
- Lemberg H. (hrsg.): *Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (1918-1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten*. Marburg 1997.
- Lewis P.: *Central Europe since 1945*. London and New York 1994.
- Lichtenberg E. (hrsg.): *Die Zukunft von Ostmitteleuropa. Vom Plan zum Markt*. Wien 1991.
- Marjanović V.: *Die Mitteleuropa-Idee und die Mitteleuropa-Politik Österreichs 1945-1995*. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1998.
- Meyer H. C.: *Drang nach Osten. Fortunes of a Slogan-Concept in German-Slavic Relations, 1849-1990*. Frankfurt am Main – New York - Paris – Wien 1996.
- Meyer H. C.: *Mitteleuropa in German Thought and Action 1815-1945*. The Hague 1955.
- Naumann F. : *Mitteleuropa*. Berlin 1915.
- Pospíšil I.: *A Chapter from Brno Ukrainian Literary Studies: the Creative Activity of Mečislav Krhoun and His Book on Jurij Fed'kovyč*. In: *Pagine di*

ucrainistica europea. A cura di Giovanna Brogi Bercoff, Giovanna Siedina. Edizioni dell'Orso, Alessandria 2001, 83-90.

Pospíšil I.: *Il centrismo interletterario mediterraneo e la letteratura russa*. In: *Il Mediterraneo. Una rete interletteraria. La Méditerranée. Un réseau interlittéraire. Stredomorie – meziliterárna sieť*. A cura di Dionýz Ďurišin e Armando Gnisci. Università degli studi di Roma „La Sapienza“, Studi (e testi) italiani. Collana del Dipartimento di italianistica e spettacolo, Roma 2000, 101-109

Pospíšil I.: *Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brunn: Fakten und Zusammenhänge*. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, 223-230.

Pospíšil I.: *Slavistika na křižovatce*. Regiony, Brno 2003.

Pospíšil I.: *Srednjaja Jevropa kak perekrestok literaturovedčeskoj metodologii*. In: *Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe (Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poetiki)*. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Čast' 1, Grodnenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, Grodno 1997, 3-10.

Pospíšil I. – Gazda J. – Holzer J.: *Integrovaná žánrová typologie*. Brno 1999.

Pospíšil I. – Zelenka M.: *Fenomén středoevropského meziliterárního centrismu* In: Dionýz Ďurišin a kol.: *Meziliterárny centrismus stredoeurópskych literatúr*, České Budějovice 1998, 50-64.

Pospíšil I. – Zelenka M.: *René Wellek and Interwar Czechoslovakia: the Roots of Structural Aesthetics*. BUNMEI (Civilisation) Tokyo, 17, 1998, 79-89.

Pospíšil I. – Zelenka M.: *Vdochnovljajuščaja literaturovedčeskaja koncepcija Jevgenija Ljackogo*. „Slavjanovedenije“ 1998, No. 4, 52-59.

Pospíšil I. - Zelenka M.: *Zur Kategorie des Raums in der Literaturwissenschaft. Marginalien zu einem Phänomen der mitteleuropäischen Literaturen*. „Germanoslavica“ IV (IX), 1997, 1, 179-189.

Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. Katowice 1996

Reinalter H. (hrsg.): *Europaideen im 18. und 19. Jahrhundert in Frankreich und Zentraleuropa*. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1994.

Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989. Schwerpunkt Ungarn. Herausgegeben und eingeleitet von Karlheinz Mack. Wien 1995.

Rosenberg H.: *Grosse Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa*. Berlin 1967.

Rumpler H.: *Eine Chance für Mitteleuropa*. Wien 1997.

The Future of East-Central Europe. Ed. by Andrzej Dumała and Ziemowit Jacek Pietraś. Lublin 1996.

Van Parijs P.: *The Ground Floor of the World: On the Socio-Economic Consequences of Linguistic Globalization*. "International Political Science Review" 2000, vol. 21, No. 2, 217-233.

Zelenka M.: *Literární věda a slavistika*. Academia, Praha 2002.

Zentraleuropa, Mitteleuropa. Gemeinsamkeiten und Trennlinien. Wien 1991.

**ЗАМЕЧАНИЯ О КОНЦЕПЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В КНИГЕ ДМИТРИЯ ЧИЖЕВСКОГО
RUSSISCHE LITERATURGESCHICHTE DES 19. JAHRHUNDERTS
(1964-1967)**

Даже беглый просмотр двухтомника Д. Чижевского 60-х годов XX века¹¹⁵ свидетельствует, что ядром его концепции является цельность литературной эволюции, традиционность и компромиссная структура критериев периодизации. Специалист по украинской литературе, славянскому барокко в общем, а по украинскому в особенности, и видный компаративист он постоянно тяготеет к видению литературы сквозь призму художественных направлений, как правило, в широком смысле слова. Чижевский – это типичный историк литературы, анализирующий детали литературного развития, поэтику прозы, стих, драму и общественный фон, но его видение является скорее глобальным. Его история – это хорошее, прекрасно обработанное стилистически повествование, однако всегда строго встроенное в более широкие эстетико-философские контексты.

Из восьми факторов, которые существенным образом воздействуют на формирование историко-литературной и теоретико-литературной концепции в смысле критериев подбора материала (эстетический критерий, критерий эволюционного поэтологического импульса, релятивизирующий, репрезентативный, сравнительно-относительный, национально-политический, индивидуально-тенденциозный, критерий временной перспективы) самыми важным является критерий эволюционного поэтологического импульса; с другой стороны, нельзя не учитывать тот факт, что в анализируемой книге лишь слабо представлен сравнительный критерий, по крайней мере в научном плане. В связи с тем, что книга писалась для немецкого читателя, главным образом для немецких студентов славистики, оба тома содержат ряд сравнительных примечаний относительно как простых, так и более сложных интерференционных явлений, включая и проблемы русского алфавита и произношения.

¹¹⁵ Dmitrij Tschizewskij: *Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts*. I. *Die Romantik*. Eidos Verlag, München 1964; II. *Der Realismus*, Wilhelm Fink Verlag, München 1967.

По сравнению со среднеевропейским видением литературного процесса, Чижевский смотрит на русскую литературу XIX века как на двойную структуру, состоящую из романтизма (*die Romantik*) и реализма (*der Realismus*). Их существование, однако, не ограничивается XIX веком: его XIX век начинается гораздо раньше и продолжается вплоть до XX века. Для Чижевского XIX век представляет собой некую философско-эстетическую цельность. Типичным в этом отношении является вводная, общая глава *Die russische Literatur des 19. Jahrhunderts*: „Natürlich liegen die Grenzen des 19. Jahrhunderts in der Literatur so wenig bei 1800 und 1900 wie in der politischen und der Geistesgeschichte. Man möchte sie eher bei 1790 und 1920 ansetzen, aber einzelne Gestalten und Erscheinungen, die außerhalb dieser Grenzen liegen, doch der Einheit des 19. Jahrhunderts zurechnen. Diesem Zeitabschnitt gehören jedenfalls Dichter wie z. B. Dostoevskij an, deren Werke nicht nur zur russischen, sondern zur Weltliteratur zählen – wenn auch bereits Werke des 18. Jahrhunderts in europäische Sprachen übersetzt worden sind (z. B. Kantemirs Satiren, Deržavins Oden) ¹¹⁶“. Несмотря на все изменения и на то, что русская литература со времени написания книги стала намного популярнее, что возникла масса переводов на разные языки мира и что были проанализированы и до тех пор вне России почти неизвестные произведения „второстепенных“ авторов, что все влюблены в так называемый русский постмодернизм, XIX век не перестает быть оригинальным, до определенной степени цельным явлением, которое сохранило свою ценность как исходный пункт и как первая ценностная вершина развития русской литературы, как ее наиболее влиятельный пласт во всемирном масштабе. Эволюционная модель Чижевского логична в том смысле, что подчеркивает именно генезис этого чуда русской литературы: автор ищет его причины в постепенном развитии и усвоении достижений западноевропейской поэтики и ее принципов. Начало огромного подъема он ищет в постклассицизме (он начинает свое изложение традиционно с Карамзина).

Все цепи развития литературы Чижевский сводит к романтизму и реализму: чтобы осуществить это, ему необходимо назвать некоторые явления или преддверие романтизма/реализма, их конечным итогом или переходным этапом. Его типология обоих явлений, следовательно, слишком богата. В рамках русского романтизма он анализирует школу Карамзина (*Die Schule Karamzins*), ранний русский романтизм (*Die frühe*

¹¹⁶ Цит. произв., с.11.

russische Romantik), в дальнейшем он пишет о прозе эпохи романтизма, о поэзии и об остатках классицизма в романтическом окружении (Klassizisten in romantischer Umgebung) и самом конце он дает обзор философских веяний и идеологического фона (Geistesgeschichtliche Bemerkungen). В томе о реализме наблюдается тот же самый прием: в начале что-то в качестве предреализма (Vorgechichte des Realismus), далее следуют портреты видных писателей, произведения которых целиком не принадлежат к реализму (Тургенев, Гончаров), потом излагается идеология революционных демократов, Достоевский, Лесков, поэзия, драма, новая реалистическая проза, особое внимание уделяется Салтыкову-Щедрину и Льву Толстому. В главе об отдельных типах реализма автор признает влияние романтизма в реализме и комментирует позднее творчество Толстого и Чехова. Последней главой является описание признаков кризиса (Zeichen der Krise), связанных с модернизмом, о котором в томе однако не пишется.

В нашей концепции эволюционной модели русской литературы в общем доминантным является понятие **пре-пост эффекта (парадокса)**: для русской литературы как таковой характерно восприятие чужих моделей и их трансформация, действующая как несовершенная имитация и, одновременно, как морфологическая инновация. Префазис иногда выступает в роли постфазиса (Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский опираются во многом, на предромантические художественные структуры и они, парадоксально, творцы нового этапа литературного развития).

Модель литературных направлений, настойчиво внушаемая европейским литературоведением, изменяется на русской почве путем бесчисленных повторений и возвращений: романтизм возвращается в форме славянофильства, сентиментализм как орудие внутренней полемики с литературным социологизмом 40-х годов XIX в., классицизм возобновляется у А. С. Пушкина и заново у И. А. Гончарова в поэтике тишины, спокойствия, равновесия почти в смысле „органической критики“ Аполлона Григорьева, предромантические структуры („готический“ роман, авантюрные сюжеты) проникают в крупные романы „золотого века“ (суггестивные, „массовые“ сюжеты Достоевского, зачастую в форме детектива, криминального романа или романа с тайной, толстовское „Воскресение“).

Эти многочисленные возвращения и повторения касаются, разумеется, и других литератур, в том числе и других славянских, но в русской литературе пре-пост эффект содержит два ключевых аспекта: он носит си-

темный характер, а именно он поднял русскую литературу на мировой уровень и наделил ведущей ролью в литературном процессе XIX века.

Тем не менее, конструирование любой истории литературы так или иначе связано с понятием литературных направлений, течений или веяний, причем каждый термин имеет свой определенный семантический объем. В этом отношении концепция Д. Чижевского, полностью основанная на строгом использовании этого критерия, плывет традиционно и консервативно против течения, т. е. против современной постмодернистской расплывчатости, туманности и ценностного хаоса, соблюдая в науке о литературе более точные критерии и ценностные иерархии. В русском языке принято говорить о литературных направлениях как о компактной совокупности произведений, характеризующихся определенной поэтикой и одинаковыми внешними и внутренними признаками, например, романтизм, символизм и т.д. Термин «течение» следует отнести к более узкой категории явлений в рамках литературного направления (например, «психологический романтизм»). В другом контексте термин «течение» употребляется «промыскуэ» в смысле культурного и духовного стремления или культурной или художественной эпохи (ренессанс, классицизм и пр.). Термин «веяние» связан с более туманными, неопределенными явлениями в художественном развитии, которые еще четко не оформлены. Так говорят, скажем, о преромантизме как о художественном веянии. Разумеется, по-другому обстоит дело в других языках: например, в чешском, в теории литературы существуют, кажется, две противоположные концепции: термин „literární směr“ употребляется в смысле русского слова «литературное направление», термину «литературное течение», наоборот, соответствует чешский термин „literární proud“. По Йозефу Грабаку суть проблемы заключается именно в мере субъективного осмысления: если сам художник осознает свою принадлежность к определенной группе явлений, то речь идет о направлении (по-чешски: „literární směr“, например романтизм), если он этой своей принадлежности не ощущает или не может ощущать, то речь идет о течении (по-чешски: „literární proud“, например, ренессанс). Есть, однако, и другой взгляд, по которому слово «течение», чешское слово „proud“ обозначает совокупность художественных явлений, которые охватывают несколько видов искусства (ренессанс, барокко и т. д.). Последняя концепция, на мой взгляд, очень расплывчата, так как теперь интенсивно применяется художественная трансценденция: рококо или бидермейер ищутся не только в изобразительном искусстве и архитектуре, но

и в литературе; то же самое касается стиля модерн, конструктивизма и других. Следовательно, почти каждое литературное направление или же течение является одновременно художественным в том смысле, что оно охватывает больше, чем один вид искусства.

Литературные направления функционируют, следовательно, в качестве особых критериев периодизации литературного процесса. Категория литературного направления – в основном – детище XVIII и XIX веков, хотя следы этого подхода видны во Франции и в Англии и раньше. Именно опыт французской литературы сыграл важную роль в формировании парадигмы литературной эволюции, в процессе обобщения литературных явлений. В последнее время категория литературных направлений неоднократно подверглась резкой критике; якобы она виновата в определенном обезличении литературы, в ее депсихологизации и ликвидации понимания артефакта как результата индивидуального художественного акта. Это на самом деле так, если не учитывать, что категория так называемого направления имеет свое место в классификационной иерархии, в которой определенное место отводится и динамике общественного развития, имманентной эволюции поэтики и творческой индивидуальности. Недооценка иерархического характера категории литературного направления влечет за собой, на самом деле, иногда потерю художественной, творческой индивидуальности: в том числе Владимир Маяковский воспринимается лишь как футурист, хотя его отношение к другим художественным направлениям и их поэтикам намного сложнее; редко говорилось о натурализме Федора Гладкова или Михаила Шолохова, за исключением некоторых западных работ игнорировались следы сюрреализма у Заболоцкого или Хармса и т. д.

Другой, не менее важной проблемой, связанной с литературными направлениями, является характер национальной литературы и культурной традиции. Механическое применение критерия направления в других литературах с другой парадигмой общественного и культурного развития и с другим характером духовной жизни может привести к неудаче и к неадекватной критике, даже к преждевременному разоблачению направлений как несоответствующего, неадекватного критерия историко-литературной периодизации. Общепринято связывать эту неадекватность литературных направлений во французской интерпретации с развитием славянских литератур в общем и русской литературы в особенности. В конце концов, попытка Вадима Кожинова, относящаяся к 70-80-м годам XX

века, которая, на мой взгляд, имеет рациональное ядро, была вызвана именно ощущением этого несоответствия. В отдельных литературах некоторые направления, культурные эпохи и компактные поэтики или не существовали вообще, или были представлены в другом, упрощенном или усложненном виде: в русской литературе это касается, например, готики, ренессанса, барокко, рококо, по мнению некоторых теоретиков, и других направлений и течений. Можно, отсюда вытекает, что категория литературного направления, течения или культурной или художественной эпохи как орудие периодизации или же классификации литературно-художественного процесса выполняет свою незаменимую функцию только тогда, когда она включена в иерархию критериев, образующих особый классификационный аппарат.

Применение критерия направления связано с перспективой периодизации. Известно, что более отдаленные явления можно легче охватить с временной и пространственной перспективы, чем явления совсем близкие: эта психо-историческая черта периодизации проявляется обычно в том, что периодизация и классификация современной литературы более подробная, отрывистая, фрагментарная, детальная, перенасыщенная материалом, который бросается в глаза. Известной чертой классификации и периодизации более современных этапов литературного развития является зачастую и отказ от применения критерия направления. В этом смысле можно привести многочисленные примеры не только в русской литературе, но и других национальных литературах. В репрезентативной книге *The Cambridge History of Russian Literature* (edited by Charles A. Moser, 1989) это представлено наглядно: *The literature of old Russia*, *The eighteenth century: neoclassicism and the Enlightenment*, *The transition to modern age: sentimentalism and preromanticism*, *The nineteenth century: romanticism*, *The nineteenth century: the natural school and its aftermath*, *The nineteenth century: The age of realism*, *The nineteenth century: between realism and modernism*, *Turn of a century: modernism*, *The twentieth century: the era of socialist realism*, *The twentieth century: in search of new ways*. Все понятно: менее подробно анализируются этапы развития древнерусской литературы, так как у нас сравнительно мало художественного материала и общеизвестно, что древнерусская литература скорее конструкт 20 века: тогда впервые она явилась в системном виде - в первой трети 19 века понятие древнерусской литературы как особого пласта было, не говоря о системе национальной литературы, неизвестно. Об том красноречиво свидетельствуют попу-

лярные высказывания, между прочим, самого Пушкина. Переходному периоду (period of transition) уделяется тоже небольшое внимание (по сравнению с подобными учебниками французской литературы), XIX век и его преддверие и последствия, наоборот, находятся в центре внимания – им посвящается шесть глав из десяти, 20 век представлен двумя главами. Вплоть до половины XX века литературное направление является доминирующим критерием классификации литературного материала – даже социалистический реализм считается самобытным направлением, образующим целую эпоху, хотя некоторые теоретики считают его скорее фиктивным явлением, нормой, которая ведет диалог с реальным литературным творчеством. Современный этап развития русской литературы (в этой истории 1953-80 год) обозначен лишь как «поиски новых путей» (in search of new ways).

Ключевым вопросом, касающимся развития русской литературы, является антиномия отечественного, автохтонного и чужого, иностранного. С самого начала возникновения письменности на Руси сталкиваются два начала более отчетливо и выразительно, чем в других европейских литературах. Проблема диглоссии легла в основу образования русского языка как такового путем синтеза на основе взаимного влияния и взаимопроникновения устного и письменного языков.

Концепция Чижевского, хотя в ней русская литература XIX века считается будто бы замкнутым целым, не непосредственной составной частью комплекса европейских литератур, парадоксально мало исходит из внутренней специфики русской литературы упомянутого периода. Исследователь применяет в основном западную парадигму развития слишком механически (эта парадигма схематична и по отношению к европейским литературам). Кроме того, распределение больше, чем столетнего развития русской литературы в два широко воспринимаемых направления, невыгодно, так как оно предполагает более подробную внутреннюю классификацию, разные компромиссные, промежуточные категории и транзитивные зоны. Хотя концепции панромантизма или панреализма не исчезают из работ даже современных исследователей¹¹⁷, они открывают опасные и скорее спекулятивные стороны истории литературы (так, например,

¹¹⁷ Конференции и сборники, организуемые и конципируемые славистами Филологического факультета Университета им. М. Бела в г. Банска Быстрица (Словакия): см.: *Slovanský romantismus*. Banská Bystrica 1999; *Slovanský romantismus – o poetike*. Banská Bystrica 2000; *Slovanský romantismus – poetika romantična*. Banská Bystrica 2002.

концепция „Слова о полку Игореве“ как романтического произведения вновь поднимает вопрос о подлинности этого текста и его возможной связи с поэтикой преромантизма). Отсюда, концепция Чижевского, на которую, по нашему мнению, повлияло его понимание украинской литературы как более европейской, чем русская (смотри, однако, более прямые контакты с западной Европой и с США, что до сих пор сохраняется и в политике; Украина скорее примыкает – объективно и субъективно – к ареалу Средней Европы), выступает как провокационная по отношению к будущему, т. е. к неизбежности построения новой истории русской литературы – не только XIX века - соответствующей материалу и автохтонной специфике ее развития. Даже сравнительно новые, историко-литературные и энциклопедические работы о русской литературе не соответствуют внутренней динамике русской литературы.¹¹⁸

Ее можно продемонстрировать на примере истории на русской почве «испорченного», деформированного, нежелаемого романного жанра: странный оксюморон А. С. Пушкина („Евгений Онегин“ как „роман в стихах“), Лермонтов в „Герое нашего времени“ преодолевает структуру французского и английского конфессионального (исповедального) романа путем усложненной повествовательной (нарративной) структуры, зачастую нарочно игнорируемый Фаддей Булгарин образует специфическую форму нравственно-сатирического романа, предвосхитившего прозу Гоголя, путем синтеза физиологических очерков достигается специфическая структура русского романа „золотого века“, „Мертвые души“ связывают воедино классицизм, Просвещение, романтизм и реализм („реальную поэзию“ Белинского) и, одновременно, эпос, лирику, плутовской авантюрный сюжет, сатиру, гротеск и абсурд. Эта „нерегулярность“ русского романа обнаруживается и в трех доминантных романских моделях русского „золотого века“: Л. Н. Толстого („Война и мир“ как современный эпос, тотальное произведение, roman-fleuve XIX века – „Анна Каренина“ уже распадается на две параллельные хроники двух пространств), Ф. М. Достоевского (переход от

¹¹⁸ См. David Gillespie: *The Twentieth-Century Russian Novel. An Introduction*. Berg. Oxford-Washington D.C. 1996. *Reference Guide to Russian Literature*. Edited by Neil Cornwell. Fitzroy Dearborn Publishers, London – Chicago 1998; R. Lauer: *Geschichte der russischen Literatur. Von 1700 bis zur Gegenwart*. Verlag C. H. Beck, München 2000; W. Kasack: *Slovník ruské literatury 20. století*. Votobia, Praha 2000; *Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů* (ed. Ivo Pospíšil; Galina Binová, Jana Bumbálková, Josef Dohnal, Helena Filipová, Taťjana Juříčková, Danuše Kšicová, Miroslav Mikulášek, Halyna Myronova, Ivo Pospíšil, Eva Svatoňová, Šárka Toncrová, Martina Vašíková). LIBRI, Praha 2001.

интенсивных повестей 40-х годов к экстенсивности хроникальных построений 50-60-х годов – „Село Степанчиково и его обитатели“, „Записки из Мертвого дома“, – а от них к новой интенсивности в „Записках из подполья“ и в крупных романах 60-80-х гг., тяготеющих к особой модели „космического романа“), и Н. С. Лескова (метод микроскопа и художественной детали, жанровая индивидуализация и повествовательная концентрация посредством сказа, который представляет собой особое видение мира и самого рассказчика, преодоление драматической романной структуры в сторону линейной, остраниченной повествовательной структуры, связывающей принципы хроники и сказа).

С другой стороны, нельзя не учесть тот факт, что будто бы старомодная периодизация Чижевского в его „Истории русской литературы XIX века“, исходящая из традиционной восточнославянской концепции двух борющихся начал (дуализм) и отвлекающаяся от деталей и нюансов, на фоне подкрепляемая, сверх того, подспудным течением мысли, сохраняет в хаосе постмодернистских не-критериев, свое вневременное значение, состоящее в поисках общих закономерностей литературной эволюции, в сохранении ценностной иерархии и определенного историзма, связанного с релятивизацией культа нового: показывает литературу как перманентное наслаивание и трансформацию эстетических пластов. То, что книга была предназначена для немецких славистов, подчеркивает ее трезвость и тяготение к дидактизму. В этом смысле она представляет до сих пор ценный этап в восприятии русской литературы классического периода.

ПО ПОВОДУ ПЕРИПЕТИЙ ВОСПРИЯТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЧЕШСКОЙ И СЛОВАЦКОЙ СРЕДЕ

В самом начале я защищаю тезис, что исследование восприятия русской литературы и шире культуры необходимо всегда связывать с контекстуальным, сравнительным видением литературных процессов. В этом смысле плодотворен – на наш взгляд – синтез чисто филологического и ареального/пространственного/зонального подходов, т. е. в этом смысле и переплетение славянско-неславянского контекста. Если речь идет о западных славянах – чехах, словаках, поляках, лужицких сербах и кашубах – то необходимо учитывать весь центральноевропейский контекст, если речь идет о сербах, то нельзя игнорировать более широкий ареал Балкан как славянско-неславянской территории. С этой точки зрения эта проблематика рассматривалась нами не раз в текстах, которые легли и в основу настоящего краткого исследования.¹¹⁹

В чешско-русских связях вообще, и литературных в особенности, наблюдается черта, которую мы могли бы с некоторой долей преувеличения назвать *Навliebe*: рецепция русской литературы возникает отнюдь не прямолинейно, а, наоборот, извилисто, часто нарочито антагонистически, в крайних позициях от восторга до критики и вплоть до сопротивления. Характерная для одной эпохи рецепция часто несоответствует установившейся позднее ценностной иерархии: иногда она отвечает русской рецепции того времени (издание Фаддея Булгарина в возрожденческой Богемии соответствует современному читательскому спросу на его произведения в России; то же касается и увлечения поэзией Евгения Евтушенко и т.п.),

¹¹⁹ См., например, наши статьи: *Феномен Центральной Европы и русский культурный элемент в чешской среде (Несколько заметок по поводу метаморфоз чешской рецепции)*. In: *Россия и русские глазами инославянских народов: язык, литература, культура 1*, „Slavic Eurasia Papers“ No. 3, Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, December 2010, s. 69-102. ISSN 1883-504X, ISBN 978-4-938637-57-6. *Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных связей*. In: *Универсалии русской литературы 2*, сборник статей, ред. А. А. Faustov. Наука-Юнипресс, Воронеж 2010, s. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.

иногда – создает свою собственную шкалу ценностей, когда в самой России (СССР) иная аксиологическая шкала не могла или не смела сформироваться (еще большее в то время обожание А. Вознесенского, культ Марины Цветаевой, усиленный ее соотношением с Чехией, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Геннадия Айги и др.).

Определенную роль в чешской рецепции сыграл и регионализм в смысле специфики рецепции региона или университета. Так отличаются друг от друга Прага, Оломоуц, Брно, Острава или Градец Кралове, т. е. в способе восприятия русской литературы как объекта научного исследования, а скорее даже в предпочтениях и приоритетах исследуемого.

Главное сочинение Масарика *Россия и Европа*, которое является для нас основным источником информации, содержит русистику в широком смысле слова: собственно филологическая или, лучше сказать, литературно-критическая или литературоведческая русистика представлена прежде всего в третьем томе, изданном на немецком языке в 1995 г., на чешском языке – на год позднее¹²⁰. Хотя мы будем учитывать русистику Масарика во всем объеме и в широком смысле слова, т. е. включая его русистские социологические и философские, или же историко-философские, размышления, опираться мы все же будем прежде всего на третий том, который изначально должен был быть ядром его *России и Европы*, а именно на исследование о Достоевском.

Чтобы понять Достоевского, которым он был очарован, Масарик погружается в глубокое и богатое по разработанным материалам изучение ключей к русской философии и общественному мышлению. Если мы посмотрим на первые два тома *России и Европы*, то увидим, что Масарик выбирает ключевые темы из русского развития по двум критериям: по тому, насколько притягивает его тот или иной круг проблем, – это то, что он сам считает типично русским или отличающимся от привычных евроамериканских моделей (сам Достоевский, а также русская хроника или летописание, переходящее в историографию, категории русского монаха, т. е. тяготение к теократии, Владимир Соловьев, русский анархизм Бакунина и Кропоткина, а прежде всего – русская форма марксизма). Наряду с этим обозначивается и другой критерий, которым является собственная

¹²⁰ См. об этом подробнее: I. Pospíšil: *T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce*, in: *Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Sborník příspěvků z V. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 19. listopadu 1997, Masarykovo muzeum, Hodonín 1998*, с. 5-13.

близость Масарика к исследуемым явлениям: это выявляет или эксплицитную позитивную оценку, или трезвый, предметный, углубленный интерес. Там, где Масарик эмоционален, речь идет или о притягивании, или об отталкивании; там, где он спокоен, рассудителен, симпатизирующий и уравновешенный в языковом и стилистическом отношении, – там чаще всего возникает глубокое увлечение в смысле близости собственным взглядам и представлениям. Так его заинтересовали, например, предположительно первый русский философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856), представитель революционно-демократического русского западничества Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848), Александр Герцен (Herzen, 1812-1870), некоторые славянофилы и западники, к примеру, Иван Киреевский (1806-1856), но в особенности его увлек своим дидактизмом и максималистским утопизмом Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889). Если в первых двух томах сочинения Масарик везде *de facto* выбирает спокойный, повествующий тон, его оценки уже поставлены, то в последних двух частях третьего тома, включающих помимо исследования о Достоевском в объеме ста пятидесяти страниц также медальоны, он все-таки более субъективный и эмоциональный.

В фигуре Федора Михайловича Достоевского для Масарика сконцентрировалась не только проблема России и Европы, но и его собственная, внутренняя проблема, которая не переставала мучить его всю жизнь: Масарик был намного меньше, чем он сам обычно утверждал, объективистским, сдержанным социологом и историком философии; именно здесь за чертами зрелого ученого проступает эмоциональность мораванина, который преодолевает или, по крайней мере, старается преодолеть в себе эту эмоциональность, старается обуздать свои этически необузданные физиологические силы прочной философской позицией, создающей надличностную этику, как раз на ниве литературы вообще и русской литературы в особенности ведет свой бесконечный бой за характер своей личности. Именно Достоевский провоцирует его к тому, чтобы задавать вопросы, которые имеют значение для него самого, а следовательно, являются экзистенциальным выражением самого Т. Г. Масарика: там, где Масарик касается России и русской литературы, он затрагивает проблему человеческого существования, и его вопрошение носит экзистенциальный характер. Это в первую очередь проблема нигилизма и анархистского атеизма, жизненный скепсис, связь религии и нравственности, убийства и самоубийства, человечности и народности и национального характера.

Многие из раздумий Масарика над Достоевским приобретают черты, которые сегодня становятся еще актуальнее, чем вчера.

Феномен Центральной Европы играл важную роль в восприятии России и русской культуры и искусства в целом, т. е. и чешский образ русского мира проходил через призму центральноевропейских стереотипов. С другой стороны, русские нередко проникали в Центральную Европу в военном и научно-культурном смысле, именно в XX веке они особым образом влияли на формирование центральноевропейской науки и культуры и в смысле советского импакта и воздействия русской эмиграции. Русские входят в состав Центральной Европы и чешский взгляд на Россию находится под влиянием общецентральноевропейского, т. е., главным образом, германо-славянского комплекса, менталитета и культурных моделей, которые в этом ареале постепенно образовались на протяжении веков.

Чешский взгляд на русскую литературу сейчас не очень отличается от нашего понимания этой литературы до 1989 года. Тогда все было под сильным идеологическим давлением, но в принципе никогда не исчезал чешский критический взгляд на русские дела в общем и на русскую литературу в особенности. Известно, что такой взгляд отстаивал бы не каждый, но если посмотреть на страницы чешских русистских и славистических изданий и периодиков, сборников и монографий в определенные периоды подъема, т. е. во второй половине 60-х годов¹²¹ XX века и во второй половине 80-х годов¹²² XX века, можно наблюдать определенный сдвиг стратегии, причем качество восприятия остается неизменным.

Нельзя серьезно и критически анализировать русскую литературу вне принципиальной положительной эмоции и позитивного отношения к духовным ценностям русской жизни вообще: гиперкритицизм слишком часто переходит к констатации русской отсталости и к взгляду на Россию как на врага или что-то чужое, экзотическое и непонятное, что резко противоречит чешскому взгляду на Россию в XIX а в первой половине XX веков. С этим тесно связан нарочно строящийся дисконтинуитет чешского взгляда на русскую литературу. Выходом из положения конца XX и нача-

¹²¹ См. *Česká literární věda – slavistika v období Pražského jara (1967-1969)*. Bibliografie. Připravila Alena Vachoušková s kolektivem spolupracovníků. Předmluva Jiří Večka. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 4, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 1998, 382 s. Viz naši recenzi in: *Slavia* 1999, č. 1, roč. 68, s. 138-140.

¹²² См наше избранное *Spálená křídla. Malý průvodce po české recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století*. Masarykova univerzita, Brno 1998.

ла XXI веков является систематическое применение литературной компаративистики и ориентация на эстетические ценности русской литературы, т. е. на ее поэтику и ценности русской духовной жизни. Само возникновение русской средневековой литературы призывает к такому подходу в смысле впитывания чужих, аллохтонных элементов, столкновения автохтонного и чужого, аллохтонного слова, фольклора и придворной литературы, восточнославянских и южнославянских слоев, диглосии и т. д.¹²³ Компаративные связи русской литературы вытекают из ее исследований более естественно, чем у многих других национальных литератур, ее сравнительный, гетерогенный характер очевиднее, нагляднее, выразительнее, четче, чем в других национальных литературах.

Связи а близость чешской и русской литератур дана, с одной стороны, близостью языка и культуры, с другой, общими событиями истории, главным образом в раннем средневековье,¹²⁴ т. е. ролью и функцией церковнославянской письменности.¹²⁵ Однако даже после церковной схизмы в 1054 г. и монголо-татарского нашествия на Русь в XIII веке нельзя говорить о ликвидации преемственности в чешско-русских связях, хотя они зачастую были сложно опосредствованы в период гуманизма, ренессанса и барокко, когда наблюдается повышенный русский интерес к католицизму. Эти контакты подчеркиваются более или менее филиацией некоторых литературных произведений.¹²⁶

¹²³ Pospíšil I.: *Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury (Poznámky k některým metodologickým problémům)*. Slavica Litteraria, X 1, 1998, s.27-37.

¹²⁴ См., например, F. Wollman: *Slovesnost Slovanů*, Praha 1928; *Чехословацко-русские литературные связи в типологическом освещении*, Москва 1971; *Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения*, Москва 1968; *Príspevky k dejinám česko-ruských kulturních styků I-II.*, Praha 1965, 1969; *Čtvero setkání s ruským realismem*, Praha 1958; J. Dolanský: *Mistři ruského realismu u nás*, Praha 1960; К. И. Ровда: *Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50-60е годы XIX века*, Ленинград 1968; А. М. Панченко, J. Dolanský: *Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech královédvorském a zelenohorském*, Praha 1969; R. Parolek: *Vilém Mrštík a ruská literatura*, Praha 1964, *Malý slovník rusko-českých literárních vztahů*, Praha 1986, D. Kšicová: *Ruská literatura 19. a počátku 20. století v českých překladech*, Praha 1988; O. Richterek: *Dialog kultur v uměleckém překladu*, Hradec Králové 1999, O. Richterek: *Úvod do studia ruské literatury*, Hradec Králové 2001.

¹²⁵ См. Josef Vašíka: *Eseje a studie ze starší české literatury*. Edičně připravil Libor Pavera. Občanské sdružení Verbum, nakladatelství Tilia, Opava – Šenov u Ostravy 2001. Libor Pavera: *Josef Vašíka (30. 8. 1884 – 11. 4. 1968). Pokus o portrét*. Vydalo občanské sdružení Verbum a Matice slezská v Opavě 2001.

¹²⁶ См.. S. Mathauserová: *O Vasiliji Zlatovlasém, králevici české země*. Praha 1983.

Новый импульс в чешко-русских литературных отношениях приходит в связи с классицизмом и просветительством и еще сильнее в период преромантизма и романтизма: известен библиографический интерес Вацлава Фортуната Дурыха (1735-1802) к России, шестимесячное пребывание Йосефа Добровского в России в 1792 г., в течение которого он способствовал переводу *Повести временных лет* на немецкий, критический интерес П. Й. Шафарика и с точки зрения русистики и славистики ключевая деятельность Вацлава Ганки (1791-1861), присутствие русской литературы в *Словесности* (1820) Й. Юнгманна, русистская деятельность Ф. Л. Челакковского и К. Я. Эрбена (перевод *Слова о полку Игореве, Задонщины*; в 1862 г. он получил орден св. Анны, с 1856 г. он стал почетным членом Санкт-Петербургской Академии наук).

Коренным переломом в чешском восприятии России, зачастую туманном, но, преимущественно положительном, было творчество Карела Гавличека Боровского (1821-1856). Его *Русские картины (Obrazy z Rus)*; фрагменты публиковались еще с 1843 г. в журнале *Кветы* и в *Часописе Чешского Музея*: первоначально славянски ориентированный молодой человек познает в Москве русскую автократию и в первый раз в чешской среде показывает Россию с ее светлыми и темными сторонами, среди которых центральное положение занимает неуважение к человеку.

Хотя двоюродный брат Н. Г. Чернышевского Александр Пыпин (1833-1904) знакомит чешскую и русскую читательскую публику с состоянием обеих литератур, прекращая, таким образом, односторонний характер чешско-русских отношений этого времени, нельзя не констатировать, что эти отношения оставались более или менее делом чешской стороны. Интерес России к чешской литературе был скорее утилитарный или языковой, научный и политический, чем конкретно эстетический, хотя и в этом отношении найдутся плодотворные контакты с русской стороны, в том числе Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других.

Именно сфера литературоведения показывает, что Средняя Европа формировалась не только географическими центральноевропейцами, но и представителями восточных славян. Связь средневропейских университетских и научных традиций, а также восточнославянской традиции общения и научных обществ, политических и научных кружков сыграла большую роль в процессе возникновения Пражского лингвистического кружка. Как оказалось, именно межвоенная территория Чехословакии благоприятствовала слиянию и своеобразному компромиссу между технологическими и более мягкими методами, связанными с „Geisteswissen-

schaft“. Так, в частности, профессор Сергей Вилинский, работающий в Университете им. Масарика в Брно с 1923 г., как бы символически соединил традицию филологического метода в рамках медиевистики, особый вид феноменологии (в зимнем семестре 1913 г. он преподавал молодому М. Бахтину в Новороссийском университете в Одессе) и историческую поэтику; деятельность Романа Якобсона, выпускника Московского университета, как одного из организаторов ПЛК, достаточно хорошо известна. Особые методологические сдвиги в сторону исторического компромисса между психологическими и имманентными методами наблюдаются у Рене Уэллека (1903-1995; его учителями были чешский германист, поэт, переводчик и литературовед психологической ориентации Отокар Фишер, а также лингвист-англист, структуралист Вилем Матхезиус).

Интересное явление представляют как бы периферийные личности, в частности первый чешский и моравский историк русской литературы, переводчик Алоис Аугустин Врзал (1864-1930), полонист, русист и украинист-литературовед Мечислав Кргоун и несколько литературоведов-учеников основоположника брненской литературоведческой славистики, профессора Франка Вольмана, методология которого (эидология) связана с Пражским лингвистическим кружком и чешским структурализмом.

В 1874 году благодаря инициативе Матице Моравске (Matice moravská, напечатала „Akciová moravská kněhtiskárna“) выходит в свет первый том издания *Славянские поэзии (Slovanské poezije)* с подзаголовком *Избранное народной и новой (искусственной) славянской поэзии в чешских переводах (Výbor z národního a umělého básnictva slovanského v českých překladech)*. Первый том называется *Русская поэзия (Ruská poezije)*, его составителем, автором комментариев и историко-литературных введений был известный брненский самоучка, филолог, автор нескольких учебников иностранных языков¹²⁷, Франтишек Вымазал (1841-1917).

В чешской антологии русской поэзии Ф. Вымазал использовал существующие переводы, дополнил том своими собственными переводами

¹²⁷ Чешская грамматика для немецких средних школ и учреждений по образованию учителей (*Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten*, 1881), Грамматические основы сербского или же хорватского языка (*Gramatické základy jazyka srbského čili chorvátského*, 1895), По-еврейски легко и быстро (*Hebrejsky snadno a rychle*, 1897), По-литовски легко и быстро (*Litevsky snadno a rychle*, 1902), По-английски легко и быстро (*Anglicky snadno a rychle*, 1902), см. также пособия по разговорной практике, например, Чех, разговаривающий с французом (*Čech s Francouzem rozmlouvající*, 1902) и Чех, разговаривающий с русским (*Čech s Rusem rozmlouvající*, 1902).

и портретами отдельных авторов. Свою книгу он посвятил „самоотверженному защитнику наших прав (*т. е. прав чешской нации – замечание мое*), благородному господину Егберту, графу Белкредди.“

Существенным вкладом Ф. Вымазала было акцентирование силы славянской фольклорной традиции; он подчеркнул, как великорусская и малорусская (украинская) литературы берут свое начало из народной поэзии. Составитель, разумеется, полностью убежден в подлинности знаменитых чешских раннесредневековых рукописей (Краловедворской и Зеленогорской), связывая их воедино с подобными памятниками восточных и южных славян. Ф. Вымазал не мог не быть дитятею своего времени. Он выбирал, прежде всего, стихотворения на политические, национальные и славянские темы. И Ф. И. Тютчев характеризуется им как поэт славянской взаимности (стихотворения *Славянам* и *Вацлаву Ганке*), хотя – объективно говоря – он как поэт, в первую очередь, остается скорее поэтом природных катаклизмов, смерти и трагической любви.¹²⁸

В широком контексте чешских исследований русской литературы и русско-чешских литературных связей Й. Добровского, Й. Юнгманна, П. Й. Шафарика, К. Я. Эрбена, В. Ганки и др., специфическое значение имеет творчество Йосефа Йирасека (1884-1972). Оно по своему характеру стоит на грани научного и популярного: Йирасек зачастую ориентируется на обзорные статьи и комплексные очерки, компиляции и популярный синтез. С точки зрения методологии Йирасек представляет собой смесь эклектизма, основанного на позитивистских подходах, архивных исследований и воздействии *Geistesgeschichte* и *Ideengeschichte* с особым психологическим и нарративным уклоном. Йирасек, прежде всего, рассказчик историко-литературных историй, занимательных – и научных – сюжетов. Не случайно в 70-е годы XX века в бывшей Чехословакии, хотя тогда по известным объективным и субъективным, в том числе политическим причинам, был явный недостаток обзорной литературы по русской письменности, наши преподаватели не очень рекомендовали известный, но устаревший труд Й. Йирасека *Обзор истории русской литературы* (в 4 то-

¹²⁸ См. нашу статью *Пушкин глазами чехов: три концепции*. In: *Болдинские чтения*. Комитет по культуре Нижегородской области, Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина „Болдино“, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород 2005, с. 227-235.

мах)¹²⁹, объясняя это, прежде всего, его излишней популяризацией и якобы ненаучностью..

Именно эта книга сыграла в свое время важную роль в формировании представлений широкой чешской общественности к русской литературе. Разумеется, что Йирасек исходит из своих предшествующих статей и книг, излагающих, прежде всего, проблемы чешско-русских культурных и, в особенности, литературных отношений. Следовательно, его концепция может казаться мало литературной, т. е. в смысле яacobсоновской „литературности“, литературной специфики, основанной на приемах русской формальной школы. Йирасеку близок, с другой стороны, более широкий культурный или культурно-политический круг, он исходит скорее из культурных эпох, тесно связывающихся с политико-экономическими данными и развитием общественной структуры в целом. То, что сначала казалось в сопоставлении с технологическими приемами устаревшим, исходящим из традиции немецкой *Ideengeschichte* или *Geistesgeschichte*, выглядит в настоящее время в контексте литературоведческой методологии ареальных исследований почти современно, как своего рода прогрессивная инновация. Язык автора, хотя с того времени немного устарел, принадлежит, в основном, к свежему пласту литературного эссеизма, его изложению не чужд социологизм и психологизм, обстоятельное знание культурной и общей историографии восточных славян в контекстуальном европейском понимании. Все это свидетельствует о своеобразной, хотя теперь скорее исторической ценности этого обзора русской литературы, в котором особое внимание уделяется и пространственному аспекту (Киев – Москва – Санкт-Петербург – Москва), т. е. воздействию российского пространства как динамического, гибкого фактора формирования культурного и литературного развития и процесса в смысле известного изречения П. Я. Чаадаева в его первом *Философическом письме* (1836) и в *Апологии сумасшедшего* (1837).

Й. Йирасек, хотя в его исследовании акцентируются, прежде всего, классические и традиционные черты русской литературы, не избегает и более глубокого фактографического изложения русской литературы нового времени и русского модернизма, который к нам попадал еще до первой мировой войны, но главным образом после двух революций 1917 года и в годы Советской России и СССР, зачастую в подобию авангарда

¹²⁹ Jirásek J.: *Přehledné dějiny literatury ruské*. Josef Stejskal v Brně, Miroslav Stejskal v Praze 1945, 2-ое издание, 1946.

и авангардизма, связанных с левой идеологией. Тем ценнее независимые интерпретации Й. Йирасека, принимающего во внимание европейский контекст русской литературы и применяющего известный „вид издали и сверху“, т. е. подчеркивающего определенную аксиологическую дистанцию. Это, разумеется, тесно связано с критическим пониманием русской литературы, русской действительности, а также политических структур России до и после первой мировой войны. Именно военные годы, находящиеся в традиционных русских изложениях скорее в тени революций и событий гражданской войны, зачастую идеологически искаженные, выступают тут как важный фактор, воздействующий на развитие русской литературы. Следует отметить, что у Йирасека они прослеживаются достаточно выразительно – новая русская история литературы свидетельствует о том, что подход Й. Йирасека был в этом отношении пророческим.¹³⁰

Йосеф Йирасек как видный чешский русист, словакист, славист и компаративист до сих пор, к сожалению, недооценивается, подобно другим исследователям периода первой Чехословацкой Республики.¹³¹ Как показано выше, он обладал чутьем в изучении сравнительного фона литературных явлений, сумел рассматривать литературу в более широком культурно-политическом контексте и, следовательно, таким образом он в определенном смысле предвосхищал современные ареальные и культурологические стремления интегрировать язык и литературу в более широкие культурные комплексы. Следует отметить и то, что он оставил нам до сих пор непревзойденное произведение *Россия и мы* (1945, 1946) и другие исследования, посвященные, например, роли Словакии.¹³² Настоящим шедевром Йосефа Йирасека является, однако, его *opus magnum*, т. е. *Россия и мы*, детальный, тщательный и материалом насыщенный анализ чешско- и чехословацко-русских отношений с их начала по 1914 год.¹³³ Мето-

¹³⁰ См. Анатолий Иванович Иванов: *Первая мировая война в русской литературе 1914-1918 гг.* Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина, Тамбов 2005.

¹³¹ См. V. Franta – I. Pospíšil: *Josef Jirásek jako rusista, slovákista a umělec slova.* Seminář filologicko-areálových studií, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, ediční série: *Brněnské texty z filologicko-areálových studií*, sv. 2, editor série: Ivo Pospíšil. Edice knihovnicka.cz, Tribun EU, Brno 2009, ISBN 978-80-7399-892-9.

¹³² См., например, *Slovensko: jeho dejiny, pomery zemepisné a hospodárske, jazykové, literárne a kultúrno-politické. Malý sprievodca po Slovensku.* Bratislava 1922. *Slovensko na rozcestí: 1918-1938.* Brno 1947.

¹³³ См. Josef Jirásek: *Rusko a my: dějiny vztahů československo-ruských od nejstarších dob do roku 1914.* Miroslav Stejskal a Josef Stejskal, Praha – Brno 1945, 1946.

дологию анализируемого автора, как уже частично иллюстрировано выше, можно охарактеризовать как смесь позитивистской акрибии, последовательного изучения источников, со способностью популяризации и функционального упрощения. То, что является, на наш взгляд, самым существенным – это критический подход Йирасека к чешско-русским отношениям, с одной стороны, а, с другой, положительная оценка культурной миссии России в Центральной Европе в общем и в чешской и словацкой среде в особенности.¹³⁴

Чешское и словацкое восприятие русской литературы, хотя оно носит структурно подобный характер, иногда резко отличается друг от друга. Это связано не только с другой структурой национальной жизни, государственной традицией, другими культурными и политическими связями, другим художественным уровнем и разной степенью развития национальных процессов, связанных с разной мерой космополитизации, но и ареальной позицией по отношению к славянскому Востоку в общем и к великорусскому миру в частности. Эти различия не исчезают и в новейшее время после 1989 года, даже иногда уливаются. Речь идет также об идеологической интерпретации этих явлений. В Словакии борются два политико-культурных направления в общем и в восприятии русской культуры и литературы в особенности: один скорее космополитический, западный, подчеркивающий модернистские а постмодернистские тенденции, просто то, что похоже на Европу и Запад, другой, акцентирующий русское своеобразие, те течения, которые являются более консервативными, отражающие реликты допетровской Руси, конфликт автохтонных и аллохтонных элементов. Между прочим, то же самое можно наблюдать и во взаимных связях чехов и словаков: чехи скорее предпочитают те словацкие течения, тенденции и явления, которые ближе западному пониманию и видению мира и почти игнорируют или скорее критически относятся к более национальному и автохтонному течению, скорее славянского, консервативного характера. Можно по-разному оценивать эти идейные течения, но нельзя их замалчивать – надо познавать воспринимающие литературные среды в их комплексном виде. Это, наверное, проявляется и в политике переводов, так как всеобщезвестно, что даже в этом нет полной свободы: вместо прямого идеологического диктата, известного до 1989 года, функционирует здесь квази-экономический диктат и толлок его

¹³⁴ См. J. Jirásek: *Češi, Slováci a Rusko: studie vzájemných vztahů československo-ruských od r. 1867 do počátku světové války*. Vesmír, Praha 1933.

посредством идеологический импакт. Из этого вытекает, что чешский читатель не имеет адекватного представления о современном состоянии русской литературы, только об определенных направлениях, которые влиятельные лица считают перспективными или идеологически приемлемыми. Вместо ознакомления с релевантными произведениями в рамках эстетического плюрализма, он знакомится только с одним или двумя течениями и поэтоками. Наряду с этим переводится и классика, выходят в свет новые антологии и избранные произведения, переводы ключевых произведений русской литературы. В этом процессе играют несомненно положительную роль некоторые переводчики, в том числе Л. Дворжак, М. Дворжак и другие.¹³⁵

В отличие от ситуации чешской литературы в 19 веке, в современной чешской литературе трудно найти следы воздействия русской литературы, хотя именно русский модернизм и авангард чехи интенсивно переводили с 20-х годов XX века. В словацкой литературе современности струя русского воздействия никогда не иссыхала. Свидетельство этому – несколько современных словацких писателей, в том числе недавно скончавшийся Ладислав Тяжки (1924-2011) или Ян Тужински (рожд. 1951).¹³⁶ Словаки также более интенсивно анализируют процесс восприятия русской литературы в своей стране и в связи с развитием своей рецепционной эстетики и транслатологии.

Нельзя, однако, сказать, чей подход представляет более высокое эстетическое качество; речь идет скорее о конфликте разных идейно-эстетических и национальных традиций и их современного функционирования.

¹³⁵ В последние годы многое сделано на поприще ознакомления чешского читателя с забытыми или до сих пор не переведенными произведениями русского модернизма, в том числе обериутов; появился новый перевод *Евгения Онегина* и, в последнее время, и *Войны и мира*, см.: L. N. Tolstoj: *Vojna a mír*. Odeon, Praha 2010 (přel. Libor Dvořák, francouzské části textu Veronika Sysalová). A. S. Puškin: *Evžen Oněgin*. Romeo, Praha 1999, 2007, přel. Milan Dvořák. K. S. Vaginov: *Harpagoniáda*. Přel. Martin Hnilo. Brody, Praha 1998. D. Charms: *Dobytku smíchu netřeba*. Přel. Martin Hnilo. Argo, Praha 1994. D. Charms: *Deníky a protokoly*. Přel. Martin Hnilo. Brody, Praha 1996. D. Charms: *Čtyřnohá vrána a nové taškařice*. Přel. Ondřej Mrázek. Argo, Praha 2007.

¹³⁶ См. более подробно в нашей статье *Česká a slovenská próza: problém typologie*. In: *Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie*. Eds: Marián Kamenčík, Emília Nemicová, Ivo Pospíšil. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Trnava 2010, s. 170-195.

SUMMARY

The present research volume *Methodology and Theory of Slavonic Literary Studies and Central Europe* is permeated by the area and comparative conceptions. The first chapter called Area/Slavonic/Comparative Studies contains the kernel of the research explicating the comparative cultural and area approaches to Slavonic studies with Central European inspiration.

The study in some of the Czech theories of a literary symbol analyses the conception of the half-forgotten Šabouk team, a contradictory association of researchers in the 1970s and 1980s. The concise study reflects upon the complicated ways of the works and their authors from the Prague Research Team on the Study of the Systems of Expression and Communication of Art, especially of S. Šabouk and Z. Mathauser, at the background of the problems of the symbol linked with the hostile ideological atmosphere of the 1970s in former Czechoslovakia in the context of Russian formalism and Czech structuralism, the new receptionist trends and in the connection with the attempts at the revitalization of various types of psychologism. In the present study the author mentions the works of the members of the team or their close colleagues, a wider context of their conceptions and various strange permeations of thought which promise new results, also on the level of the analysis of the correspondence of that time.

The next study tries to demonstrate Potebnya's conception of "shyness of creation", the creation as a self-reflection and self-evaluation in the form of continuity and, at the same time, anticipation of softer approaches to art in the second half of the 20th and at the beginning of the 21st centuries.

The following treatise contains the analysis of the Central European tradition of comparative literary studies and new phenomena of the last decades.

The chapter on the Russian emigré Sergii Vilinskii (1876-1950), contractual professor of Russian literature at Masaryk University, Brno, since 1923 deals with the change of his times and epoch: he was a famous Russian medievalist, but in the interwar Czechoslovakia he started to analyse the work of the two more modern authors – a Bulgarian Petko Todorov and a Russian M. Ye. Saltykov-Shchedrin.

In the next chapter the author analyzes the correspondence and personal documents of several slavists who worked in Brno or directly at Masaryk University: A. Vrzal, S. Vilinsky, J. Horák and R. Jakobson with reference to his

own research and already published materials, this time in condensed and synthesized form. He indicates the three places where the documents has been kept: The Moravian Regional Archives, The Moravian Regional Library and The Archives of Masaryk University. He focuses, above all, on the correspondence of A. Vrzal with Russian writers who sent him his original autobiographies (M. Gorky, A. Chekhov, S. Gusev-Orenburgsky, B. K. Zajtsev, D. N. Mamin-Sibiriyak, A. I. Ertel and others), on the autobiography of S. Vilinsky, on the procedure of Jakobson's assistant professorship at Masaryk University, on the so-called *vota separata* and, in general, on Jakobson's Brno years. These documents throw a comparatively new light on his personality.

The following text deals with the dominant parts of the newly re-edited book *The Literature of the Slavs* by the Czech historian and theorist of literature, folklorist and famous comparatist Frank Wollman (1888-1969). His link to his teacher Matija Murko (1861-1952), whose Russian study stay was substantial for his methodological orientation, connected him prevalently with South-Slavonic literatures, especially Slavonic folklore he collected in the Balkans and in Slovakia (fairy-tales published in 3 volumes only in the recent decade). F. Wollman understood Russian literature as an integral part of Mediterranean, European and Slavonic complex which has had both allochthonous and autochthonous bases. Its aesthetic rise is associated with the Western impact in the 18th century; though Wollman is not prepared to explicate this qualitative process in its complexity and depth and traditionally points out the French-German-Polish-“West-Russian” textual, genre and poetic influence, though he also grasped the North-South axis which has been of great importance. Thus, Wollman – although his main interest was not mainly Russian literature and he did not quite catch its „miraculous“ rise, placed it in a wider Slavonic comparative relations which are sometimes being forgotten even nowadays. The next essay tries to analyze the three specific subjects concerning the problems expressed in the title, i. e. the specific features of the Central-European area, its structure and specific relations, especially with East Europe, mainly with Russia and, above all, the Czech reception of Russia's cultural and literary phenomenon on Masaryk's conception in *Russia and Europe* and, finally, on the example of the Brno habilitation and professorial chair of Roman Jakobson and the so-called *vota separata* understood as a sort of the clash of the two cultural spaces.

The study in the phenomenon of Central Europeans (*homines Europae centralis*) deals with the Central European subject in the works of four Central

European authors writing more or less in Czech: František Kautman, Ota Filip, Jindřich Zogata and Michal Viewegh. Kautman's prose work is based on the Jewish theme with Russian background and Czech mentality, the confessional documentary novel *The Seventh Curriculum Vitae* by Ota Filip is based on the sad fact of a short-time collaboration of the main character with the communist secret police (the fact is autobiographical and its revelation and the following mass media campaign led to the suicide of Filip's son in Germany). The action of the novel covers the period from the 1930s to the 1950s: the documentary authenticity forms a genre mixture of the chronicle and of the confessional novel with a specific layer of peculiar humour going back to Filip's beloved Kafkian poetics and to Gogolian grotesque and absurd tragic comism and with a peculiar sort of visualisation and sensual activity. The main subject of the novel is closely connected with the phenomenon of Central Europe which is understood as a geographical, linguistic, cultural, political and economic complex. The key-role of the archives of the German pre-war Prague newspaper Prager Tagblatt and its library focusing on the works of Prague German Jewish literature and on the works of German anti-fascist emigrants confirms the dominant function of culture in the process of the self-definition of Central Europe as a spiritual space, as a virtual reality concentrating the memory of generations which is more brilliant than the splendour of temporary victors. The so-called Silesian trilogy by Jindřich Zogata *The Heritage of the Disappeared Pipes* (Dědictví zmizelých píšťal, 1996), *Oats on the Roofs* (Oves na střeších, 1996) and *The Wooden Pyramids* (Dřevěné pyramidy, 1998) is written in the form of the novel chronicle which was cultivated in the course of the 19th and at the beginning of the 20th centuries, especially in Slavonic and Scandinavian literatures (S. T. Aksakov, N. S. Leskov, J. Holeček, Knut Hamsun, V. and A. Mrštík etc.). Zogata's prose depicts the region situated on the border of Moravia, Slovakia and Poland from the First World War up to the 1940's. The poetics of the novel reflects the morphological principles of the genre's construction: it is oriented on the region and on the stability of life forms. Zogata's novels contain an interesting mechanism permanently restoring the balance of the lyric, epic and dramatic elements. The poet Zogata has to fight with his lyric talent to realise the synthesis of the above-mentioned elements aiming at the formation of the multicultural, boundary, interethnic, experimental palimpsest. From this aspect, his poetics seems to be traditional and antitraditional at the same time. Viewegh's two recent novels are characterised as examples of the so-called quasipostmodernism based on the adoration of the present mo-

ment in the expectation of the new big bang connected not only with spectacular cosmic cataclysms, but also with the intrinsic modification of man as a biological entity, a warning symbolically coming again from the magical Central European space.

The two final chapters concern the two phenomena: the literary historical conception of classical Russian literature in the German book by Dmytro Chizhevsky and the reception of Russian literature in Czech and Slovak culture. The author of this final part of the monograph with regard to his research concerning Russia and Central Europe and the Czech-Russian and Slovak-Russian literary relations tries to illustrate several peripeteias of their development and their specific features with regard to their contemporary stage and the personalities who crucially influenced its character.

Библиографическая справка

Публикуемые в этом издании материалы подверглись – по сравнению с опубликованными текстами – лишь незначительным изменениям.

Ареал/славистика/компаративистика. In: „Славистика”, кн. XIV (2010), с. 217-225. ISSN 1450-5061

Заметки по поводу некоторых чешских теорий символа, в особенности в литературоведении. „Миргород” 2014, Но. 2 (4), с. 37-47. Lausanne – Siedlce, ISSN 1897-1431.

Авторефлексия/автоаксиология творчества и одна традиция русский эстетической мысли. In: „Миргород”. Журнал, посвященный вопросам эпистемологии литературоведения. Akademia Podlaska, Université de Lausanne, Section de langues et civilisations slaves, 2010, No. 2, с. 203-210. ISSN 1897-1431.

Феномен Центральной Европы и литературоведение: традиции чешской и словацкой литературоведческой компаративистики и новые веяния. In: „Conversatoria Litteraria“. *W kręgu zagadnień komparatystyki: Teoria i praktyka związków literackich*. Red.: Danuta Szymonik. Siedlce – Banská Bystrica 2009, с. 45-58, ISSN 1897-1423.

Изменение темы и метода – Сергей Вилинский в Университете им. Масарика. In: *Русский язык как инославянский* (<http://www.slavisticko-drustvo.org.rs/izdanja/RJKI.htm>), выпуск IV, Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении. Славистическое общество Сербии, Beograd 2012, с. 7-19. ISSN 1821-3146.

История брненской славистики в переписке и личных документах (избранные главы). In: „Slavica Litteraria“, X 15, 2012, supplementum 2, Masarykova univerzita, Brno 2012. Развитие славистики в зеркале эпистолярного наследия и других личных документов. *Vývoj slavistiky v zrcadle epistolárního dědictví a jiných osobních dokumentů*. Eds: Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil, с. 125-140. ISSN 1212-1509.

„Литература славян“ Франка Вольмана и русская литература (Размышления по поводу нового чешского издания известной книги). In: „Универсалии русской литературы „4. Издательско-полиграфический центр „Научная книга“, Воронеж 2012, с. 185-196. ISBN 978-5-4446-0116-7.

Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных связей. In: „Универсалии русской литературы” 2, сборник статей, ред. А. А. Faustov. Наука-Юнипресс, Воронеж 2010, с. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.

Рождение средневропейской поэтики (Ф. Каутман – О Филип – Й. Зога-та – М. Вивег). In: *Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики.* Материалы X международной научной конференции в двух частях. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Учреждение образования „Гриодненский Государственный Университет им. Янки Купалы, Гродно 2005, часть 1, с. 79-91. ISBN 985-417-703-3, ISBN 985-417-702-5.

Замечания о концепции русской литературы в книге Дмитрия Чижевского Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts (1964-1967). In: *Дмитрий Чижевский и европейская культура.* Ред.: Roman Mnich i Justyna Urban. „Colloquia Litteraria Sedlcensia“, Akademia Litteraria Sedlcensia, Drohobuř – Siedlce 2010, с. 131-140.

По поводу перипетий восприятия русской литературы в чешской и словацкой среде. In: *Русский язык как инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении.* Выпуск III, Славистическое общество в Сербии, Белград 2011. ISSN 1821-3146.

KSIĄŻKI SERII
COLLOQUIA LITTERARIA SEDLCENSIA

Redaktor naczelny: Roman Mnich
Sekretarze redakcji: Adriana Pogoda-Kołodziejak, Aldona Borkowska

- Tom I.** Agnieszka Pasztor, *Dunajów kolebką renesansu w Polsce*, 118 s.
[ISBN 9788387088866; ISBN 978-83-878458-0-3]
- Tom II.** *Taras Szewczenko: interpretacje i reinterpretacje*,
red. Roman Mnich, Marjana Markowa, 110 s.
[ISBN 9788387845667; ISBN 978-96-638404-8-2]
- Tom III.** Werner Korthaase, *Дмитрий Чижевский:
жизнь великого ученого*, 255 s.
[ISBN 978-96-638408-9-5]
- Tom IV.** *Дмитрий Чижевский и европейская культура*,
red. Roman Mnich, Justyna Urban, 320 s.
[ISBN 9788387845902]
- Tom V.** Виктор Дмитриев, *Символ.
Философско-поэтическая мысль русского Символизма*, 524 s.
[ISBN 978-83-878456-5-0]
- Tom VI.** Оксана Блашків, *Чеська і словацька культура
в житті танауковій спадщині Дмитра Чижевського*, 432 s.
[ISBN 978-83-928791-9-0]
- Tom VII.** Hans Rothe, *Szkice o literaturze polskiej i ukraińskiej*, 238 s.
[ISBN 978-83-932671-0-1]
- Tom VIII.** Stefan Simonek, *Іван Франко і „Молода Муза”*, 300 s.
[ISBN 978-83-932671-9-4]
- Tom IX.** Roman Bobryk, *Martwa natura.
Gatunek, motyw, kompozycja*, 232 s.
[ISBN 978-83-932671-7-0]
- Tom X.** *Symbol w kulturze: funkcje i semantyka*,
red. Andrzej Borkowski przy udziale Justyny Urban, 275 s.
[ISBN 978-83-63307-96-7]
- Tom XI.** Леонид Геллер, *По русской литературе и окрестностям.
Статьи разных лет*, 313 s.
[ISBN 978-83-63307-88-2]

-
- Tom XII.** Rafał Kozak, „*Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!*”
Habsburgowie w twórczości Karla Vocelki, 348 s.
[ISBN 978-83-937388-0-9]
- Tom XIII.** *Człowiek wobec sytuacji kryzysowych w literaturze, sztuce i kulturze*, red. Ludmiła Mnich i Adriana Pogoda-Kołodziejak, 210 s.
[ISBN 978-83-937388-2-3]
- Tom XIV-I.** *Формы времени и сумасшествия в литературе и искусстве*, red. Aldona Borkowska i Ludmiła Mnich, 281 s.
[ISBN 978-83-937388-3-0]
- Tom XIV-II.** *Formy czasu i szaleństwa w literaturze i sztuce*, red. Ewa Kozak i Barbara Stelingowska.
[ISBN 978-83-64884-04-7]
- Tom XIV-III.** *Formen der Zeit und des Wahnsinns in Literatur und Kunst*, red. Adriana Pogoda-Kołodziejak i Robert Małecki, 169 s.
[ISBN 978-83-64884-08-5]
- Tom XV.** *Историко-филологические исследования: традиции и современные тенденции*, red. Ewa Kozak i Adriana Pogoda-Kołodziejak, 177 s.
[ISBN 978-83-937388-6-1]
- Tom XVI.** Roman Bobryk, *Martwa natura w poezji polskiej XX wieku*, 273 s.
[ISBN 978-83-64884-00-9]
- Tom XVII.** Andrzej Borkowski, *Лабиринты дискурсов в славянских литературах эпохи барокко. Религия – политика – общество*, 247 s.
[ISBN 978-83-64884-20-7]
- Tom XVIII.** *Ян Амос Коменский и Дмитрий Чижевский: диалог идей*. red. Svetlana Marchukova, Roman Mnich, 276 s.
[ISBN 978-83-64884-40-5]

Książki serii **Colloquia Litteraria Sedlcensia**
można zamawiać pod adresem:

ikribl@wp.pl